

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

ОРХАН ПАМУК

Стамбул

Город воспоминаний

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛИБРИ»

Орхан Памук

Стамбул. Город воспоминаний

«Азбука-Аттикус»

2003

Памук О.

Стамбул. Город воспоминаний / О. Памук — «Азбука-Аттикус», 2003

Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за «поиск души своего меланхолического города». В самом деле, действие почти всех романов писателя происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший расцвет и печальные сумерки упадка. Однако если в других произведениях город искусно прячется позади событий, являя себя в качестве подходящей декорации, то в своей книге «Стамбул. Город воспоминаний» Памук отводит ему роль главного героя. Рассказывая о своем детстве и юности, писатель раскрывает перед нами Стамбул как тайну, которую стоит узнать и полюбить.

© Памук О., 2003

© Азбука-Аттикус, 2003

Содержание

1	6
2	11
3	19
4	26
5	33
6	46
7	62
8	71
9	76
10	83
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Орхан Памук

Стамбул. Город воспоминаний

© Т. Меликли, перевод, примечания, 2003

© М. Шаров, перевод, примечания, 2003

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство КоЛибри®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Моему отцу
Гюндюзу Памуку
(1925–2002)*

*Лишь тот пейзаж красив,
что навевает грусть.*

Ахмет Расим



1

Другой Орхан

В детстве я верил – и эта вера на долгие годы осталась где-то в глубине моей души, – что на одной из стамбульских улиц есть дом, похожий на наш, и в этом доме живет другой Орхан, во всем похожий на меня, как близнец, как двойник. Откуда у меня взялась эта мысль, я не помню. Скорее всего, она появилась не сразу, а стала результатом сплетения в детском сознании неверных догадок, случайных совпадений, заблуждений и страхов. Чтобы объяснить, что я чувствовал, я должен рассказать об одном из первых случаев, когда она проявилась в моей голове вполне отчетливо.



Однажды, в возрасте пяти лет, меня на некоторое время увезли из родного дома. После очередной ссоры и временного расставания отец и мать уехали мириться в Париж, оставив меня и моего старшего брата в Стамбуле. Брат остался в Нишанташи, в родовом доме семейства Памук, с бабушкой и прочими родственниками, а меня отправили в Джихангир к тете (маминой сестре). В этом доме, обитатели которого встретили меня любовью и улыбками, на стене в белой рамке висел небольшой детский портрет. Время от времени тетя или ее муж, показывая на него, с улыбкой говорили мне: «Посмотри-ка, это ведь ты!»



Симпатичный большеглазый мальчик, изображенный на рисунке, действительно был немного похож на меня, и на голове у него была точь-в-точь одна из тех кепок, в которых я выходил на улицу. И все же я понимал, что это не совсем мой портрет. (В действительности это была репродукция европейского рисунка, изображающего «хорошего мальчика» в стиле китч.) Я все думал, не может ли это быть какой-то другой Орхан, живущий в другом доме.

Но сейчас я и сам переехал в «другой дом», словно это было нужно для того, чтобы встретиться с моим двойником, живущим где-то в глубинах Стамбула. Однако перспектива этой встречи меня совсем не радовала. Я хотел вернуться в настоящий дом – в дом моей семьи. Когда мне говорили, что на портрете на стене – я, мои мысли начинали немного путаться, в голове у меня кружились, сплетаясь друг с другом, я сам, мой портрет, рисунок, похожий на мой портрет, мальчик, похожий на меня, и «другой дом», плод моего воображения; и я хотел вернуться домой, к своей семье, чтобы никогда больше оттуда не уезжать.

Желание мое сбылось, и вскоре я вернулся в родовое гнездо. Но завораживающее видение другого Орхана, живущего в другом доме где-то в Стамбуле, меня не покинуло. В детстве и ранней юности меня часто посещали мысли о моем двойнике. Иногда, проходя по стамбульским улицам, я, глядя на освещенные оранжевым светом окна, представлял себе счастливых и спокойных людей, мирно живущих за ними, и, когда я пытался разглядеть, что происходит внутри, меня на мгновение пронзала мысль о том, что в одном из этих домов живет другой Орхан. По мере того как я вырос, видение возвращалось все реже и наконец стало приходить ко мне только во сне. Порой, когда во сне я встречался с другим Орханом – неизменно в другом доме, – я просыпался, крича от страха; но иногда мы молча смотрели друг на друга с удивительным и безжалостным спокойствием. Когда я просыпался, то чувствовал, как сильно я привязан к моей подушке, к моему дому, к моей улице, к району, в котором живу. Когда же я чувствовал себя несчастным, то мечтал о том, чтобы переехать в другой дом, туда, где живет другой Орхан, и зажить его жизнью; и в какой-то момент даже начинал немного верить в то, что стал другим Орханом. Эти грезы так меня утешали, что переезжать в другой дом уже не было необходимости.

К чему я, собственно, это рассказываю? Дело в том, что за всю свою жизнь я так никуда и не переехал из своего района, со своей улицы, из своего дома. И я уверен: то, что сейчас, пятьдесят лет спустя, я по-прежнему живу в нашем старом доме (впрочем, за это время успев пожить и в других районах Стамбула), там, где мама, взяв меня на руки, впервые показала мне мир, там, где были сделаны мои первые фотографии, – как-то связано с утешительной мыслью о существовании другого Орхана. Мне кажется, что и своеобразие моего рассказа о себе – и, стало быть, о Стамбуле – проистекает из того, что в эпоху миграций и писателей-переселенцев я умудрился прожить пятьдесят лет на одном месте, более того, в одном и том же доме. «Вышел

бы ты на улицу, сходил бы куда-нибудь или съездил», – печально говорила мне, помнится, мама.

Есть писатели, такие как Конрад, Набоков, Найпол, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, родину, континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. И я знаю, что если их творческие силы только крепили от изгнания или скитаний, то я как писатель сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на характер человека отпечаток судьбы этого города.

Флобер, побывавший в Стамбуле за сто два года до моего рождения, под впечатлением от его многолюдности и разнообразия написал в одном из своих писем, что он уверен: через сто лет Константинополю суждено стать столицей мира. Но Османская империя рухнула и исчезла с лица земли, и его предсказание сбылось с точностью до наоборот. Когда я родился, роль Стамбула в мире была наименее значительной за все две тысячи лет его существования, он переживал свои самые печальные дни слабости, нищеты, заброшенности и изоляции. Воспоминания о былом величии Османской империи, бедность и заповсюду развалины, навевающие тоску, – вот с чем всю жизнь ассоциировался у меня Стамбул. И всю свою жизнь я пытался побороть эту тоску или же, как все стамбульцы, наконец сжиться с ней.

Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эти семья, страна, город, которые я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил? Порой я чувствую себя несчастным из-за того, что родился среди развалин и праха рухнувшей империи, в блекнущем и ветшающем от уныния, тоски и бедности Стамбуле. (Внутренний голос, впрочем, говорит, что на самом-то деле мне повезло.) Что касается материального положения, то иногда я думаю, что я счастливчик, поскольку родился в обеспеченной семье. (Бывает и так, что думаю наоборот.) Как правило, мне удается убедить себя в том, что нет смысла переживать по поводу своей внешности (эх, был бы я покрепче да посимпатичнее!) или пола (будь я женщиной, неприятностей от этого было бы не меньше). Это – моя судьба, и я понимаю, что Стамбул, город, в котором я родился и провел всю жизнь, тоже стал моей судьбой. Книга, которую вы держите в руках, – об этой судьбе.



Я родился в Стамбуле 7 июля 1952 года в маленькой частной клинике в районе Мода вскоре после полуночи. Коридоры клиники и мир вокруг нее были погружены в ночную тишину. На нашей планете, за исключением извержения неожиданно проснувшегося двумя днями ранее в Италии вулкана Стамболини, все было спокойно. Среди газетных заметок о воюющих в Северной Корее турецких солдатах появились не привлекавшие особого внимания сообщения о том, что, по данным из американских источников, северяне, возможно, готовятся применить биологическое оружие. За несколько часов до моего рождения мама читала другие новости, вызвавшие у нее, как и у большинства жителей Стамбула, большой интерес, – новости о событиях, имевших место в нашем городе. Два дня тому назад, ночью, в районе Ланга при попытке проникнуть в дом через окно уборной был замечен вор-рецидивист в устрашающего вида маске. Сторожа и отважные студенты из Конийского общежития пустились за ним в погоню и в конце концов загнали на склад пиломатериалов. Там злоумышленник, покрыв полицейских напоследок отборной бранью, покончил жизнь самоубийством. А днем позже при опознании тела один торговец тканями узнал в нем бандита, который за год до этого среди бела дня совершил вооруженное нападение на его лавку в Харбийе. Мама читала эти новости в полном одиночестве, поскольку, как много позже она рассказала мне с некоторой обидой, отец, уложив ее в клинику, заскучал в ожидании родов и отправился повидаться с друзьями. Поздно вечером, перебравшись через садовую ограду, к ней в родильную палату пришла ее сестра, и больше никого из родственников рядом не было. Увидев меня в первый раз, мама подумала, что по сравнению с моим братом, родившимся двумя годами раньше, я выгляжу слабым, хрупким и худеньким.

«Мама подумала...» Я употребил здесь простое прошедшее время, а надо было бы – прошедшее с окончанием – *miş*. Я очень люблю это время, которое в турецком языке используется, когда мы рассказываем сказки, говорим о своих снах и вообще о том, что на самом деле с нами не происходило или происходило, но не с нами; когда мы пересказываем то, что слышали от других. Это время весьма уместно и в рассказе о тех временах, когда мы лежали в колыбели, катались в коляске или делали свои первые шаги, – ведь о первых годах нашей жизни мы узнаём от родителей спустя годы и, с напряженным интересом внимая их рассказам, как

будто смотрим со стороны на чьи-то чужие первые шаги и слушаем чьи-то чужие первые слова. Это волшебное ощущение, похожее на то, что мы переживаем, видя себя во сне, способствует появлению привычки, которая сопровождает нас всю жизнь: привычки судить о смысле всех событий нашей жизни – и даже самых сильных ее наслаждений – на основании чьих-то чужих мнений. Выслушивая рассказы о нашем детстве, мы охотно верим им, а позже начинаем воображать, что и в самом деле помним то, о чем нам рассказали, и уже сами делимся с другими этими «воспоминаниями»; таким же образом то, что было сказано другими по поводу различных пережитых нами событий, с течением времени не только превращается в наши собственные суждения, но и становится важной частью наших воспоминаний об этих событиях. Так же как мы усваиваем чужие суждения о жизни, мы, как правило, перенимаем у кого-то и мнение о городе, в котором живем.

Иногда, когда я принимаю чужие слова о себе и о Стамбуле за свои собственные воспоминания, я говорю себе, используя то самое время с окончанием – *miş*: «Вроде бы занимался я когда-то живописью... Говорят, что родился и вырос я в Стамбуле, был любознательным ребенком... Долго ли, коротко ли, исполнилось мне двадцать два года, и взялся я ни с того ни с сего писать роман...» В таком духе я хотел было написать и эту книгу – чтобы рассказать обо всей моей жизни так, как будто говорю о ком-то другом, как будто пересказываю волшебный сон, в котором слабеют голос и воля. Однако мне думается, что язык сказок неубедителен – ведь он описывает жизнь словно этап, предшествующий другой, второй жизни, более «настоящей» и яркой, в которую мы переходим, как будто просыпаемся. А для таких, как я, возможность прожить вторую жизнь заключается не в чем ином, как в книгах, подобных той, что ты, читатель, держишь сейчас в руках. Осуществление этой возможности зависит и от тебя. Я буду с тобой честен – отплати же мне за это своим благосклонным вниманием.

2

Фотографии в музейной темноте

Наше семейство – мама, папа, брат, бабушка, сестры отца и его братья со своими женами – обитало в пятиэтажном доме, занимая все его этажи. Еще за год до того, как я родился, все они жили, подобно большой семье османских времен, в разных комнатах на разных этажах большого каменного здания, находившегося неподалеку. В 1951 году это здание было отдано в аренду частной начальной школе, а наше семейство переселилось в построенный на соседнем участке «современный» жилой дом, на четвертом этаже которого моя семья живет и по сей день. К входной двери, как было принято в те времена, была прикреплена табличка, гордо извещавшая: «Дом семейства Памук». Когда я был еще маленьким и путешествовал по этажам нашего дома на руках у мамы, на каждом из этих этажей было по фортепиано, а то и по два. На первом этаже жил один из моих дядей, который остался в моей памяти вечно читающим газету. Женившись позже всех своих братьев, он и поселился ниже всех вместе со своей супругой и ее фортепиано, проводшей следующие полвека сидя у окна и созерцая проходящих по улице людей. Никто никогда не играл ни на этом фортепиано, ни на других, и они вызывали у меня печаль и тоску.

Не только молчащие фортепиано, но и всегда запертые буфеты, за стеклами которых были выставлены серебряные сервизы, китайский фарфор, чашечки, сахарницы, табакерки, хрустальные фужеры, флаконы для розовой воды, тарелки, кадилницы и спрятанная когда-то среди них маленькая игрушечная машинка; никогда не использующиеся подставки для книг, инкрустированные перламутром, и пустые полочки для кавуков¹, висящие на стенах; ничего не загораживающие ширмы с рисунками, копирующими стиль модерн или японскую живопись; книжный шкаф моего дяди-врача, заставленный облаченными во внушительные переплеты пыльными книгами по медицине, стеклянные дверцы которого ни разу не открывались с тех пор, как дядя эмигрировал в Америку, – все эти предметы обстановки, заполнявшие гостиные на каждом этаже, были, как мне чудилось, расставлены здесь не для того, чтобы жить среди них, а для того, чтобы среди них умирать. (Иногда какой-нибудь журнальный столик или резной сундук таинственным образом перемещался с одного этажа на другой.)

Когда нам с братом случалось неловко плюхнуться в одно из инкрустированных перламутром и украшенных канителью кресел, бабушка строго говорила нам: «Сядьте как следует!» Конечно, причиной превращения жилых комнат из места, предназначенного для уютной и спокойной жизни, в подобие музея, ожидающего неких гипотетических посетителей, которые могут явиться когда угодно, было стремление обитателей дома «жить как на Западе». (Человека, не соблюдающего пост в Рамазан, гораздо меньше мучат угрызения совести, если он живет среди буфетов и фортепиано и сидит в кресле, а не на подушках, скрестив по-турецки ноги.) Поскольку люди не очень-то понимали, зачем еще, кроме избавления от предписаний религии, нужна европеизация, они почти не пользовались своими гостинными, превращая их в печальный и порой поэтичный символ богатства и жизни на западный манер. Этот обычай, за пятьдесят лет распространившийся не только в Стамбуле, но и по всей Турции, начал исчезать только в конце 1970-х годов, с появлением в домах телевизоров. Людям понравилось собираться всей семьей перед экраном, вместе смотреть фильмы и новости, весело беседовать. Из подобия музеев гостинные стали превращаться в миниатюрные кинозалы. Но я помню, что даже в те годы в некоторых семьях было принято ставить телевизор в какую-нибудь маленькую ком-

¹ Кавук – головной убор, на который наматывается тюрбан.

натку, напоминающую прихожую, а запертые двери музея-гостиной открывать только по праздникам или в случае прихода особо почетных гостей.



С этажа на этаж, как это бывает в доме, в котором живет одна большая семья, все время кто-нибудь ходил, поэтому двери квартир, как правило, не запирались. Когда брат начал ходить в школу, я, иногда спросив разрешения у мамы, а иногда и вместе с ней, по утрам – в это время бабушка еще спала – поднимался на верхний этаж, в гостиную, в эти часы особенно похожую на антикварную лавку: тюлевые занавески на окнах и тени от домов, стоящих на другой стороне узкой улочки, погружали ее в полутьму. Там, ползая по большим тяжелым коврам, я играл во что-нибудь сам с собой. Расставлял привезенные из Европы игрушечные машинки в идеальном порядке, играя в автостоянку; представлял, что ковры на полу гостиной и коридора – море, а кресла и столы – возвышающиеся над ним островки; изображал «жизнь на деревьях», прыгая по диванам и креслам так, чтобы не касаться ногами пола, и воображая себя персонажем романа Итало Кальвино² «Барон на дереве», который провел всю жизнь на деревьях, не ступая на землю; или, оседлав подлокотник кресла, упоенно пребывал возничим кареты – одной из тех, что мне доводилось видеть на Хейбелиаде³. Когда уставал от игр или, чаще, когда мое воображение уставало, борясь со скукой, превращать гостиную во что-то совершенно иное (воображению предстояло заниматься этим всю мою жизнь, только в дальнейшем гостиная уступила место школьным классам, университетским аудиториям, армейским казармам, больничным палатам и кабинетам государственных учреждений), я принимался осматриваться вокруг в тщетной надежде увидеть на журнальных столиках, больших столах или стенах что-нибудь интересное, но, кроме фотографий, ничего интересного там не было.

В то время я думал, что фортепиано, стоящие на нижних этажах, нужны именно для того, чтобы расставлять на них фотографии в рамках. В бабушкиной жилой комнате и в ее гостиной все горизонтальные и вертикальные поверхности были заставлены и увешаны фотографиями самых разных размеров. На самом почетном месте, на стене над камином, в котором никогда

² Итало Кальвино (1923–1985) – итальянский писатель и эссеист.

³ Хейбелиада – остров в Мраморном море, где расположены дачи стамбульцев.

не разводили огонь, висели, каждая в своей раме, две огромные фотографии, подкрашенные ретушью. На одной из них был дедушка, умерший в 1934 году, на другой – бабушка. Войдя в гостиную-музей, всякий мог понять по месторасположению этих фотографий и по позам бабушки и дедушки, напоминавшим позы королей и королев, которых я видел в те годы на марках некоторых европейских стран, – они стояли, повернувшись друг к другу, и при этом смотрели прямо в камеру, – что именно с этих людей вся история и началась.

Оба они родились в городке Гордес, близ Манисы, и происходили из семейства, члены которого прозывались Памуками⁴ – за их необычно бледную кожу и светлые волосы. В моей бабушке текла кровь статных черкешенок, которых на протяжении нескольких столетий поставляли в гаремы османских вельмож. Ее отец во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов перебрался в Анатолию, потом поселился в Измире (время от времени кто-нибудь из моих родственников заводил речь о пустующем доме, оставленном там) и, наконец, вместе с семьей переехал в Стамбул, где мой дедушка учился на инженера-строителя. В начале 1930-х годов дедушка разбогател на щедро финансируемом молодой Турецкой республикой строительстве железных дорог и построил на берегу впадающей в Босфор реки Гёксу большую пеньковую фабрику, производившую широкий ассортимент товаров – от веревочек для сушки табака до корабельных канатов. Он умер в 1934 году в возрасте пятидесяти двух лет, оставив наследство, которое мой отец и дядя, то и дело пускавшиеся в разного рода разорительные предприятия, за многие годы так и не смогли растратить.

Из гостиной можно было пройти в кабинет, на стенах которого в идеальной симметрии были развешаны портреты уже следующего поколения – тоже большие, в рамках, раскрашенные в пастельные тона все тем же фотографом – любителем ретуши. На одной из них был дядя Озхан, пышущий здоровьем толстяк, который, выучившись на врача, уехал в Америку, откуда не мог вернуться, поскольку увильнул от воинской службы, – его отсутствие давало бабушке повод постоянно жить в атмосфере траура. На другой – его младший брат, дядя Айдын, с очками на носу, живший на первом этаже; как и мой отец, он, изучив инженерное дело, с молодых лет стал браться за большие строительные проекты, которые не мог довести до конца. На третьей – моя тетя, долгие годы учившаяся играть на фортепиано и даже ездившая ради этого в Париж. Вернувшись домой, она вышла замуж и на фортепиано играть перестала. Вместе с мужем, преподававшим на юридическом факультете университета, они жили на верхнем этаже, в квартире, в которую через многие годы переехал я и в которой пишу эту книгу.

Вернувшись из кабинета в гостиную – свет хрустальной люстры придавал ей особенно печальный вид, – я начинал разглядывать другие фотографии, черно-белые, нетронутые ретушью; в них куда сильнее чувствовалось дыхание жизни. Среди них были свадебные фотографии братьев и сестры моего отца; снимки, запечатлевшие разные памятные семейные даты; первые цветные фотокарточки, присланные дядей из Америки; фотографии с какой-то свадьбы, на которую мы с родителями и братом ходили все вместе; фотографии членов семейства на берегах Босфора и на площади Таксим в праздничные дни, в саду старого соседнего дома, на фоне дедушкиных и дядиных автомобилей и нашего парадного подъезда. За исключением некоторых чрезвычайных случаев, вроде замены фотографии первой жены американского дядюшки на фотографию его второй жены, все эти фотографии стояли в неизменном порядке, как будто были частью раз и навсегда утвержденной экспозиции старинного музея. И все же, заходя в эту гостиную, я снова и снова в который уже раз начинал рассматривать знакомые изображения.

И каждый новый взгляд на фотографии учил меня понимать важность прожитой жизни и отдельных ее мгновений, выхваченных из потока времени и вставленных в рамку, дабы было видно, что сохранены они не зря. Порой, наблюдая за тем, как дядя пытается добиться от моего

⁴ Хлопок (*тур.*).

брата решения какой-нибудь математической задачки, я переводил глаза на его фотографию, сделанную тридцать лет назад; или, сидя рядом с отцом, просматривающим газеты и одновременно прислушивающимся к шутливому разговору в гостиной (я понимал это по улыбке на его лице), я бросал взгляд на фотографию, где он был запечатлен в моем возрасте, с длинными, как у девочки, волосами, – и у меня появлялось ощущение, что жизнь дается нам именно для того, чтобы мы могли пережить эти главные ее мгновения и заключить их потом в рамку. Иногда бабушка, рассказывая о рано ушедшем из жизни дедушке, словно повествуя о деяниях основателя некоего государства, указывала рукой на развешанные на стенах и расставленные на столах фотографии, и ее жест подчеркивал противоречие между неповторимыми мгновениями жизни и ее обычным течением. Я осознавал, что эти особенные мгновения, под защитой рамки противящиеся ходу времени, ветшанию вещей и старению людей, наделены особым значением и смыслом; и все-таки при взгляде на них мне становилось немного грустно.



Будучи совсем маленьким, я очень любил семейные вечера, когда все собирались за ужином и вели веселые разговоры, застолья во время Курбан-байрама и Шекер-байрама⁵; встречи Нового года, после которых все садились играть в лото. (Позже, уже став взрослым, я каждый Новый год говорил, что больше уже не приду его отмечать, и каждый раз потом приходил.) Эти семейные трапезы, перешучивания, смех, рождающийся не без влияния алкоголя (дядя пил раки или водку, а бабушка – чуточку пива), убеждали меня в том, что жизнь, не попадающая в рамку, гораздо веселее, и внушали мне иллюзию того, что счастье – это взаимное доверие, веселье и безмятежность семейного круга. И в то же время с самых ранних лет я замечал, что мои родственники, любящие вместе посмеяться, повеселиться и посидеть за праздничным столом, вели себя друг с другом совершенно бессердечно, когда дело доходило до споров об имуществе или о деньгах. Иногда, когда мы оставались наедине в нашей квартире, мама гневно рассказывала мне и моему брату, какие несправедливости «нам» – то есть нашей семье из четы-

⁵ Курбан-байрам, Шекер-байрам – мусульманские праздники.

рех человек, части большого семейства, – приходится претерпевать от «вашего дяди», «вашей тети» и «вашей бабушки». Когда нужно было что-нибудь делить, будь то имущество, акции пеньковой фабрики или комнаты на каком-нибудь этаже, это всякий раз приводило к долго не затухающим спорам, ссорам и обидам. В шутилой атмосфере семейных сборищ на бабушкином этаже я, может быть, и забывал мамины рассказы об этих неприглядных делах, похожих на трещинку в тонком стеклышке рамки водруженной на пианино фотографии какого-нибудь радостного мгновения; но даже будучи ребенком, я догадывался, что за этими шуточками кроются порой обидные намеки на старые счеты. Я замечал и то, что ссоры затрагивали даже прислугу каждой маленькой семьи, составляющей большое семейство, например нашу Эсму-ханым или тетину служанку Икбал, переживающих за исход очередного разногласия.



«Знаешь ли, что сказал вчера Айдын?» – спрашивала, бывало, мама за завтраком. «И что же?» – с любопытством вопрошал отец, но, выслушав ответ, говорил только: «Да не обращай внимания!» – и скрывался за газетой, давая понять, что тема закрыта.

Наше семейство, все еще похожее на большие старинные османские семьи Стамбула, обитавшие всем скопом в больших деревянных особняках, потихоньку разрушалось и распадалось – пусть семейные раздоры и не навели меня на мысли об этом, я все равно это чувствовал, и причиной тому были постоянные банкротства компаний, которые отец создавал вместе с дядей, и его все учащающиеся отлучки. Время от времени мы с мамой ходили в гости к «другой бабушке», маминой маме, которая жила в Шишли, одна в трехэтажном пыльном особняке, похожем на дом с привидениями. Пока мы с братом играли, мама рассказывала бабушке о том, что дела идут все хуже, а бабушка, опасавшаяся, как бы мама не захотела вернуться в родительский дом, советовала ей сохранять спокойствие и пыталась внушить нам, что дом этот совсем неудобен для житья.

Моему отцу были свойственны кратковременные вспышки раздражительности, но в целом он был весьма доволен жизнью, судьбой, самим собой, своей внешностью и умом и немного по-детски (от некоторой ребячливости он никак не мог избавиться) выставлял свое довольство напоказ. Помню, дома он часто насвистывал веселые мелодии и любовался собой в зеркале, при этом иногда, взяв лимон, выдавливал сок и втирал его себе в волосы, как бриллиантин. Он обожал шутки, головоломки и игру слов, с удовольствием читал наизусть стихи,

любил блеснуть интеллектом и слетать куда-нибудь далеко на самолете. Некоторые отцы всегда готовы отругать, запретить или наказать – мой папа был не из таких. Во время наших с ним долгих веселых прогулок я чувствовал (особенно в раннем детстве), что мир – это замечательное место, созданное для того, чтобы человек был счастлив.



Если отец предпочитал обходить молчанием все отрицательные или просто скучные стороны жизни, то мама, наоборот, все время говорила нам о ее, жизни, опасностях и многое нам запрещала. Она всегда была готова, нахмутив брови, защищать нас от всяких напастей, поэтому с ней было не так весело, как с отцом. Но мама уделяла нам гораздо больше времени, чем отец, который норовил при первой возможности сбежать из дому, и поэтому я очень нуждался в ее любви и нежности. То, что за эту любовь мне нужно соперничать с братом, я осознал как один из основных законов жизни уже в самом раннем детстве.

Упорная борьба и соперничество с братом за материнскую любовь, принявшие чрезмерный размах, заняли в моей душе то место, которое могло бы занять противостояние авторитету, силе и власти отца. Тогда, конечно, я не понимал этого так, как понимаю теперь. Наше с братом соперничество, особенно вначале, никогда не происходило открыто – оно было частью игры, в которой каждый представлял себя кем-то другим. По большей части мы дрались друг с другом не как Орхан с Шевкетом, а как один футболист или герой сказки с другим футболистом или героем. Во время этих игр и драк, кончавшихся кровью и слезами, мы, изображая вымышленных или реальных персонажей, полностью входили в роль и как будто забывали, что

это не кто-нибудь, а мы, два брата, деремся, изо всех сил колотим друг друга и обзываемся обидными словами. Мой брат, всю жизнь интересовавшийся статистикой и подробными описаниями различных побед, как-то, многие годы спустя, сказал мне, что, по его подсчетам, в девяноста процентах этих драк победителем оказывался он.

Когда мне становилось грустно или скучно, я, не говоря никому ни слова, уходил из нашей квартиры либо вниз, поиграть с тетиным сыном, либо, чаще всего, наверх, на бабушкин этаж. (Однажды мама сказала мне: «Дети часто жалуются, что им скучно, а я за все твоё детство ни единого раза от тебя этого не слышала».) Несмотря на то что все этажи были очень похожи друг на друга, а многие вещи – сервизы, сахарницы, кресла, пепельницы – были просто одинаковыми, каждый этаж представлялся мне совершенно особенным миром. Несмотря на печальную атмосферу переполненной вещами бабушкиной гостиной, а может быть, и благодаря ей, я любил приходить в эту комнату, похожую на музей, играть здесь, мечтать среди теней, отбрасываемых вазами, рамками фотографий и журнальными столиками, представляя, что это какое-то другое место.



По вечерам, когда зажигались лампы и вся семья собиралась вместе, бабушкина квартира превращалась в капитанскую рубку огромного корабля, идущего сквозь бурю; волны становились все больше, нам – капитану, команде и пассажирам корабля – становилось все страшнее, и я гордился тем, что судьба корабля и всех, кто на нем плывет, находится в моих руках. В эту игру переносилось многое из тех видений, которые приходили ко мне по ночам, когда я, лежа в кровати, слышал, как печально стонут сирены больших кораблей, проходящих через Босфор.

Игра эта напоминала и приключения героев комиксов, которые читал мой брат. Но в то же время я чувствовал, точно так же как и при размышлениях об Аллахе, что судьба моей семьи не имеет ничего общего с судьбой простых стамбульцев, – просто потому, что мы богаты. Однако в последующие годы, по мере того как отец и дядя терпели банкротства, родственники делили имущество и деньги, отец и мама ссорились, – наша маленькая семья и все большое семейство разрушались, дробились, беднели и быстро стремились к полному распаду; и каж-

дый раз, когда я заходил в бабушкину квартиру, мне становилось все грустнее и грустнее. Чувство подавленности, потерянности и тоски, опустившееся на Стамбул с падением Османской империи, пусть и другими путями и с некоторым опозданием, добралось и до нас.

3 «Я»

В счастливые мгновения, которых было так много в моем детстве, я чувствовал счастливым не «себя», а весь мир – добрый, прекрасный, солнечный. Огорчения – нелюбимая и невкусная еда, уколы шприцем в руку, деревянная клетка, которую почему-то называли манежем, – меня туда сажали, когда я был совсем маленьким, чтобы не бегал и не падал, а я злился и грыз деревянные перильца, или (это одно из самых неприятных воспоминаний моего детства) случай, когда я зажал палец дверцей дядиной машины и простоял так, плача, несколько часов (за этим последовал страшный визит к врачу на рентген), – все это давало мне представление не обо мне самом, а о существовании в жизни боли и неприятностей, которых следует избегать. Но вместе с проблесками сознания, вместе с фантазиями и переживаниями во мне медленно, словно чувство вины, зарождалось ощущение своего бытия, своего «я».



Когда мой брат, который был старше меня на два года, начал ходить в школу, а я еще нет, то есть когда мне было от четырех до шести, мы отдалились друг от друга, и прежней дружбы между нами уже не было. В эти два его школьных года мне жилось лучше, чем раньше, поскольку на протяжении значительной части дня я был избавлен от ощущения своей слабости по сравнению с братом и от чувства соперничества с ним. Наш дом переходил в мое распоряжение, а мамина нежность и забота доставались мне целиком и полностью. В эти годы я понял, что значит быть одному, и к этому же времени относятся мои первые незабываемые воспоминания.

Брату покупали комиксы. Я просил его прочитать мне слова персонажей, а потом, когда он был в школе, открывал эти книжки и сам «читал» их, вспоминая услышанное ранее. Однажды замечательным летним днем, когда меня уложили спать после обеда, я, вместо того

чтобы заснуть, сразу же стал разглядывать картинки в одном из этих комиксов и вдруг почувствовал, что одна из частей моего тела, которую мама называла пиписькой, стала твердой. Это случилось, когда я смотрел на картинку, изображавшую полуголого индейца. Из одежды на индейце не было ничего, кроме тонкой веревки вокруг пояса, с которой, дабы прикрыть его пипиську, свешивался кусок гладкой ткани, похожий на флаг, с нарисованным в центре кругом.

В следующий раз я почувствовал отвердение этой части тела через несколько дней, снова после обеда, когда я, одетый в пижаму, лежал под одеялом и разговаривал с игрушечным медведем, который был у меня с тех пор, как я себя помню. Ощущение от отвердения, сути которого я понять не мог, было приятным, но мне не хотелось, чтобы о нем узнали другие. А произошло оно в тот самый момент, когда я сказал медведю: «Я тебя съем!» И всякий раз потом, когда я, схватив медведя (к которому не чувствовал особой привязанности), обращался к нему с этой угрозой, странное это отвердение происходило снова. Слова «я тебя съем» часто встречались в страшных местах сказок, рассказываемых мне мамой. В этих сказках говорилось о страшных великанах – дивах, которые, как я узнал много позже, попали в Стамбул из классической персидской литературы. Эти родичи шайтанов и джиннов, четыре столетия назад изображавшиеся такими маленькими хвостатыми чертиками, перебравшись в наши сказки, значительно увеличились в размерах. Мое представление о том, как выглядит див, было связано с картинкой на обложке небольшого сокращенного издания «Книги о моем деде Коркуте»⁶. Изображенное на ней чудовище, полуголое, подобно индейцу, могучее и немного отталкивающее, выглядело так, словно было властелином всего мира.

Слова «я тебя съем» в маминых сказках означали угрозу убить, проглотить, уничтожить. Как раз в то время мой дядя купил небольшой кинопроектор. По праздникам, в том числе и на Новый год, он брал в магазине фотопринадлежностей напрокат короткометражные мультфильмы Шарлю, Уолта Диснея, Лорела и Харди и показывал их на белой стене над камином в присутствии всего семейства (при этом фотографии бабушки и дедушки со стены торжественно снимались). У дяди была и собственная небольшая коллекция мультфильмов. Один из них моим родственникам удалось посмотреть всего два раза – и всё из-за меня. В этом мультфильме тупой и злобный великан размером с дом ловил Микки-Мауса и бросал его в колодец, а потом, одним рывком выдернув колодец из земли, выпивал из него, словно из стакана, всю воду. Когда несчастный мышонок падал великану в рот, маленький Орхан начинал рыдать взахлеб. Меня до сих пор пугает хранящаяся в музее Прадо картина Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей» – я воспринимаю ее как изображение великана, схватившего маленького человечка и засовывающего его себе в рот.

Однажды после обеда, когда я снова лежал в кровати и запугивал медведя, испытывая в то же время странную нежность к нему, дверь открылась, и вошел отец. На какое-то мгновение он увидел меня со спущенными трусами и поднятой пиписькой. Закрывал отец дверь тише, чем открывал, однако с некоторым почтением, которое я смог почувствовать даже тогда. Обычно же, когда отец заходил с работы домой пообедать и немного вздремнуть, он, заглядывая в комнату, где я спал, целовал меня, прежде чем снова уйти. У меня появилось чувство, что я сделал что-то нехорошее, и, что еще хуже, сделал это для своего удовольствия; и потихоньку во мне стало расти ощущение того, что удовольствие – это и есть что-то плохое.

В другой раз это случилось со мной, когда меня мыла в ванне няня, нанятая после того, как мама ушла из дома в результате одной из бесконечных ссор между родителями. Помню, как няня ругала меня за это очень строгим голосом; при этом удовольствие мне доставляли горячая вода и мытье.

⁶ «Книга о моем деде Коркуте» – турецкий народный эпос.



Я боялся и стыдился такого поведения своего тела не только потому, что не мог его контролировать. Хуже было то, что я думал, будто это странное отверждение происходит только со мной одним. Только шесть-семь лет спустя, в школе, когда я начал прислушиваться к разговорам, которые вели мои одноклассники, когда рядом не было девочек («У меня встал», – говорил, например, один мальчик другому), я понял, что эта особенность присуща не мне одному.

Вообразив, что постыдное это отверждение бывает только у меня, я с перепугу решил, что свойственную мне «испорченность» необходимо скрывать от других. Отсюда пошла моя привычка жить в другом, внутреннем мире, куда никто не мог проникнуть. Помимо не так уж часто случающегося отвердения, моя испорченность, как я полагал, заключалась главным образом в склонности к нелепым фантазиям – я воображал, по большей части просто от скуки, что живу не в комнатах дома, похожего на музей, а в каком-то другом месте и что сам я – кто-то другой. Улизнуть в этот другой мир, спрятанный от всех в моей голове, было очень просто: стоило, например, только представить себе, что я сижу не в бабушкиной гостиной, а в подводной лодке. Как раз тогда меня впервые сводили в кино – в пропахшем пылью кинотеатре «Сарай»⁷ в Бейоглу я посмотрел экранизацию романа Жюль Верна «20 000 лье под водой». В этом фильме некоторые сцены происходили в полной и поэтому жутковатой тишине. Погруженные в полутьму, снятые на черно-белую пленку отсеки подводной лодки, за пределы которых в течение всего фильма действие так и не вышло, напомнили мне наш дом. Конечно, многое в фильме осталось мне непонятным, потому что я не мог еще читать субтитры, – но разве не таким же образом я «читал» и комиксы брата? Места, которые я не понял, очень легко было восстановить с помощью воображения. (И сейчас, когда я читаю книги, для меня самое главное не понять, а представить себе то, о чем я читаю.) Миры, которые я создавал своим воображением, были, в отличие от отвердения, полностью мне подвластны – я мог выбирать, в какой мир попасть, мог изменять его по своему желанию, словно во сне, когда ты осознаешь, что спишь. Силой воображения я в одно мгновение стирал с широкого стола с висевшей над ним большой люстрой все его почти барочные украшения, резьбу и перламутровую инкрустацию, и

⁷ Дворец (тур.).

стол превращался в огромную гору, о которой я «читал» в комиксах; на этой таинственной горе существовал свой особый мир. Все остальные предметы обстановки, находившиеся в комнате, тоже становились горами, а я, превратившись в самолет, летал между ними, набирая скорость.

– Да не болтай ты так ногами – голова кружится! – говорила сидящая рядом бабушка.

Я переставал болтать ногами, но мой воображаемый самолет, нырнув в туман, образовавшийся из дыма бабушкиной сигареты, пропадал в нем; я оказывался в лесу, полном всевозможных растений и животных: зайцев, змей и львов, изображения которых я до этого рассматривал на симметрично развешанных коврах, и пускался в приключения, взятые из комиксов: устраивал пожар, убивал нескольких человек, вскакивал на лошадь, вспоминал, как я рассыпал шарики брата, пока он был в школе... Часть моего сознания продолжала воспринимать звуки, раздающиеся в доме, и по стуку двери лифта я понимал, что швейцар Исмаил поднялся на наш этаж; при этом мои приключения среди полуголых индейцев продолжались полным ходом. Мне нравилось поджигать дома, обстреливать людей, находящихся в пылающем доме, или, если в этом доме находился я сам, обдумывать план спасения с помощью подкопа; нравилось, поймав муху между оконным стеклом и пахнущей сигаретами тюлевой занавеской, давить ее, пока не умрет, а потом, отправляядохлую муху в дырку панели калорифера, воображать, что это разбойник, которого постигла заслуженная кара. До сорока пяти лет в блаженные моменты между сном и бодрствованием я продолжал мысленно убивать кого-нибудь, потому что знал, что от этого мне станет лучше. Иногда это были родственники, даже очень близкие мне люди, например мой брат, иногда – политики, литераторы или владельцы лавок, а по большей части – выдуманные люди. У всех я прошу прощения. В минуты безверия, пустоты и потери надежды я, человек, который нежно любит кошек, часто издевался над ними, а потом мучился от стыда, и сердце мое переполняла жалость. Двадцать пять лет спустя, во время службы в армии, когда после обеда вся рота, закулив, начинала болтать о том о сем, я, бывало, представлял себе, что у всех этих рассеявшихся по стульям семи с половиной сотен солдат, издав так похожих друг на друга, оторваны головы и их окровавленные пищеводы тихонько покачиваются в прозрачно-голубом от сладковатого сигаретного дыма пространстве большой столовой... И тут кто-нибудь из моих сослуживцев говорил мне: «Не болтай ногами, браток, утомил уже!»

Этот другой мир, так же как и отвердение, был моей тайной; если его скрывать, думал я, у меня не будет неприятностей. Догадывался о его существовании, похоже, только отец.

Когда я упоминал о том, как в минуту гнева, увлекшись, оторвал своему медведю единственный глаз, или о том, как, вытащив немного соломы через дырку у него в животе, заставил его похудеть; или, снова сломав (уж очень он мне нравился!) в третий раз купленного мне игрушечного футболиста размером с палец, который бил ногой по воображаемому мячу, если нажимали на кнопку в его голове, прятал его, а потом представлял, как он лежит, раненный, и борется за свою жизнь; или когда я боязливо думал о ворах, которые, по словам нашей служанки Эсмы, ходили по крыше соседнего дома (говорила она об этом с такой же уверенностью, с какой рассказывала и об Аллахе), – отец, бывало, вдруг говорил мне: «Скажи-ка, что за мысли у тебя в голове, я тебе двадцать пять курушей дам».

Я молчал, не зная, как быть: рассказать, о чем я думаю, или рассказать, но немного по-другому, или соврать, – тогда он, улыбнувшись, говорил: «Прошло уже, а то бы сразу сказал».

Может быть, отец сам жил в «другом мире»? Насколько я был прав, полагая, что эта странная особенность, которая, как я узнал много позже, давно уже известна как склонность к фантазированию, – свойственна мне одному? Я избегал задавать себе этот вопрос – не только потому, что чувствовал беспокойство в словах отца, но и потому, что обладал способностью по своему желанию забывать о том, что меня беспокоило.



Помимо того что я считал способность фантазировать странностью, присущей исключительно мне, была еще одна причина, по которой я утаивал свои фантазии, – вернуться из моего «другого мира» было очень просто. Я мог сидеть рядом с бабушкой и глядеть на яркий солнечный свет, бьющий сквозь щелку в занавесках, словно прожекторы судов, проходящих по ночам через Босфор, и, когда я замуривал глаза, моему взгляду тут же являлась вереница красных космических кораблей. Точно так же я мог представить себе что угодно, а потом, покинув мир воображения, словно человек, выходящий из комнаты и выключающий свет (в детстве я очень часто слышал фразу «Погаси свет!»), мог спокойно вернуться к обычной жизни.



Какая разница между человеком, которому нравится воображать, что он Наполеон, и человеком, полагающим, что он Наполеон на самом деле? Первый – счастливый фантазер, а

второй – несчастный шизофреник. Я очень хорошо понимаю шизофреников, которые не могут не жить в мире своих грез, прячась за маской какой-то другой личности, но при этом жалею их и втайне чувствую свое превосходство над ними – ведь они заперты в своем мире, как в тюрьме, и не могут вернуться в счастливый и надежный «настоящий» мир. Когда я был маленьким, мне было скучно в украшенных коврами (терпеть не могу ковры) гостиных и коридорах дома, похожего на музей, в обществе увлеченных математикой и кроссвордами позитивистов. В нашем темном и печальном доме не хватало (позже мои родственники это отрицали) душевности, любви, живописи и литературы (сказок), зато было слишком много вещей. Я укрывался в своем мире, думал о другом Орхане, живущем в другом доме где-то в Стамбуле, и представлял, что меняюсь с ним местами, именно поэтому, а не из-за того, что был несчастен.

Напротив – в детстве, особенно в течение двух последних лет перед школой, я чувствовал себя очень счастливым. С усмешкой признаюсь, что только в семье, а не среди сверстников я был благоразумным и послушным мальчиком. Все находили меня «прелестным» и «очень милым» ребенком, все хотели расцеловать и приласкать. Продавец фруктов вручал мне яблоко («Немытое не ешь», – тут же говорила мама), хозяин кофейной лавки угощал сушеным инжиром («Съешь после обеда», – говорила мама, одаривая лавочника аристократической улыбкой), случайно встреченная на улице родственница дарила конфету («Скажи спасибо», – говорила мама). Все это, наряду с поцелуями, похвалой и ласковыми словами, утверждало меня в убеждении, что мир, существующий в моей голове, – пугающий, странный, неподобающий – нужно хранить в тайне.

Огорчения, которые я испытывал в детстве, были связаны с моим ростом – я не мог выглянуть из окна на улицу, мне не было видно даже домов, стоящих напротив, только небо; когда я заходил с мамой в мясную лавку напротив полицейского участка (в лавке стоял неприятный запах, о котором я через некоторое время забывал, но, выйдя на свежий воздух, снова вспоминал), не мог увидеть, как мясник огромным ножом длиной с мою ногу разделяет мясо на деревянном прилавке; я не мог заглянуть в ящик мороженщика, не мог увидеть, что лежит на столах и прилавках, не мог дотянуться до кнопок лифта и дверных звонков. Если на улице происходило небольшое дорожное происшествие или мимо проезжала кавалькада конной полиции, передо мной все время оказывался какой-нибудь взрослый, и я пропускал половину события. Как только во время футбольного матча (отец стал брать нас с собой на стадион в очень раннем возрасте) возникала опасная ситуация, все зрители, сидящие впереди, разом вскакивали с мест, и я не мог увидеть, как забивают гол. Впрочем, я не огорчился из-за этого так, как брат, потому что во время футбола мое внимание было сосредоточено не на мяче, а на лепешках с сыром, бутербродах с брынзой и завернутых в позолоченную бумагу шоколадках, покупавшихся нам отцом. Больше всего я ненавидел, когда после матча мы попадали в толпу людей, которые, толкаясь, продвигались к выходу со стадиона. Когда я оказывался зажатым между их ногами так, что еле мог вздохнуть, весь мир представлялся мне темным и душным лесом из мужских ног, облаченных в мятые брюки и грязные ботинки. Вообще нельзя сказать, чтобы я сильно любил взрослых – кроме красивых, как моя мама, женщин. Взрослые были некрасивыми, волосатыми и грубыми, слишком неуклюжими и неповоротливыми, чересчур трезвомыслящими. Когда-то они знали, что внутри нашего мира существует другой, тайный мир, но с тех пор потеряли способность удивляться и мечтать. Мне нравилось, что они находят меня милым и то и дело говорят, до чего же я прелестный ребенок, нравилось, что при виде меня они расплываются в улыбке и балуют меня подарками; но вот постоянные поцелуи меня раздражали. Исходящий от них запах табачного дыма или духов бил в нос, щетина и усы кололи кожу. Мне не нравилось, что у мужчин растут волосы на внешней стороне пальцев, в носу и в ушах, я думал, что они по сравнению с женщинами более низменные и вульгарные создания. Рассказ обо всех этих огорчениях выводит наше повествование за пределы дома, на улицы Стамбула.

4

Печаль разрушающихся особняков: улицы

Дом семейства Памук находился в районе Нишанташи, на краю обширного земельного участка, на котором некогда располагался сад, прилегающий к особняку одного высокопоставленного паши. Эта местность получила свое название благодаря камням, установленным на этих холмах в конце XVIII – начале XIX века, во время правления Селима III и Махмуда II – султанов-реформаторов, сторонников европеизации. Камни служили для обозначения места, где устанавливались пустые кувшины, по которым султаны развлечения ради стреляли из луков, а иногда и из пушек; на камнях были выбиты несколько стихотворных строчек, объясняющих, зачем они здесь стоят. Когда султаны, возжелав европейского комфорта и вообще перемен в духе европеизации, а также опасаясь чахотки, перебрались из дворца Топкапы в построенные по их повелению дворцы Долмабахче и Йылдыз, на расположенном неподалеку холме Нишанташи стали строиться большие деревянные особняки министров, великих визирей и родственников султана. Лицей Ышык, где я окончил начальную школу, находился в особняке принца Юсуфа Иззеддин-паши, потом я ходил в школу Шишли Теракки, расположенную в здании, некогда принадлежавшем главному визирю Халилу Рифат-паше. Пока я там учился, пока играл в футбол на школьных дворах, оба этих особняка были уничтожены пожаром. Здание напротив нашего дома было построено на развалинах особняка вельможи Фаик-бея. Единственным старым особняком в нашей округе, находившимся в хорошем состоянии, было построенное в конце XIX века каменное здание, которое в свое время служило резиденцией великих визирей; когда Османская империя рухнула, а столица была перенесена в Анкару, оно перешло в распоряжение губернаторов Стамбула. Чтобы сделать прививку от оспы, я ходил в особняк, принадлежавший когда-то еще одному паше османских времен, – теперь здесь была районная администрация. Здание, принадлежавшее Министерству иностранных дел, – в нем принимали западных гостей Османской империи, – дома дочерей султана Абдул-Хамида, обугленные руины особняков, поросшие папоротником и инжиром: кирпичные стены, разбитые стекла, покосившиеся ступеньки – зрелище, которое до сих пор наводит на меня глубокую тоску и вызывает в памяти воспоминания о детстве, – все эти следы прошлого в те годы еще не были уничтожены наступлением многоквартирных домов.

Задние окна нашего дома выходили в сад, расположенный на проспекте Тешвикийе. Там, среди кипарисов и лип, стоял полуразрушенный особняк, построенный для Хайреттин-паши, выходца из Туниса, который во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов в течение недолгого времени был великим визирем. В 30-е годы XIX века, за десять лет до того, как Флобер написал: «Поскольку я поселился в Стамбуле, я хочу купить себе раба», будущий паша, черкес по национальности, родившийся на Кавказе, был ребенком продан в рабство, попал в Стамбул, затем в Тунис, провел свою юность во Франции, усвоил арабский язык и арабскую культуру. Потом его отдали в армию, где он быстро продвинулся по службе. Он побывал на самых высоких должностях: был военачальником, губернатором, дипломатом, финансистом. В конце жизни он поселился в Париже. Когда ему исполнилось шестьдесят лет, султан Абдул-Хамид по совету шейха Зафири, тоже выходца из Туниса, вызвал его в Стамбул. Некоторое время Хайреттин-паша заведовал финансами империи, а затем был назначен великим визирем, став одним из первых в Турции (и вообще в бедных странах) высокопоставленным финансистом и управленцем, вызванным из западной страны в надежде на то, что он проведет реформы и спасет родину, увязшую в долгах. На пашу, как и на более поздних его последователей, возлагались большие надежды, связанные с тем, что он по складу ума был уже не столько османом или турком, сколько европейцем; по этим же причинам – то есть потому, что он не был

в достаточной степени турком и не знал местной специфики, – на посту своем он пробыл недолго. Говорили, что Хайреттин-паша, возвращаясь в карете с совещаний во дворце, записывает свои мысли по-арабски, а потом пишец-француз переписывает эти записи по-французски. Его противники написали донос султану, в котором пересказали слухи о том, что паша не знает турецкого языка, и сообщили, что тайной целью паши является создание арабского государства. Султан Абдул-Хамид очень серьезно воспринимал даже те доносы, в которых, как он чувствовал, доля истины была весьма мала, и Хайреттин-паша был отстранен от должности. Вернуться в любимую Францию впаавший в немилость главный визирь не мог, и остаток своей жизни он провел в печали, почти под домашним арестом. Зимой он жил в особняке, в саду которого позже был построен наш дом, а летом – на вилле на берегу Босфора, в районе Куручешме. На досуге он писал доклады султану и воспоминания на французском языке, которые были опубликованы на турецком лишь восемьдесят лет спустя. Воспоминания эти, показывающие, что чувство долга у паши было развито значительно сильнее, чем чувство юмора, он посвятил своим сыновьям. Через двадцать лет после того, как один из этих сыновей, замешанный в заговоре против Махмуда Шевкет-паши⁸, был казнен, особняк, задолго до того, впрочем, купленный Абдул-Хамидом, был подарен одной из его дочерей, Шадийе-султан.

Об этих погорелых и разрушенных особняках (они были связаны в нашем сознании с историями о принцах, сошедших с ума, о придворных, курящих опиум, о детях, запертых на чердаке, о дочерях султана, изменивших мужьям, об отправленных в ссылку или убитых пашах), напоминающих об упадке и падении Османской империи, у нас дома не говорили. Наша семья переехала в Нишанташи в 1930-е годы, когда с установлением республики все эти паши, принцы и сановники османских времен канули в прошлое, а их особняки, эти маленькие дворцы, оставшись без присмотра, начали пустеть, гореть и разрушаться.



⁸ Махмуд Шевкет-паша – великий визирь в правительстве младотурок, убит в 1913 году.



И в то же время печаль этой погибшей культуры и канувшей в небытие империи чувствовалась везде. Стремление к европеизации, представляется мне, происходило в большей степени не от желания идти в ногу со временем, а от желания поскорее избавиться от оставшихся со времен империи вещей, навевающих грусть и пропитанных горькой памятью. Так

после внезапной смерти любимой спешат выбросить ее платья, подарки, вещи и фотографии, чтобы спастись от невыносимых воспоминаний. Построить на месте развалин что-то новое, сильное и могучее, некий модернизированный мир, по западному образцу или нет, не получалось, так что все эти усилия помогали главным образом забыть прошлое. Результатом этого стало разрушение особняков, упрощение и оскудение культурной жизни, превращение домов в музеи неусвоенной, чужой культуры. Осознание того, насколько все это странно и печально, стало медленно проникать в мою душу позже, а в детстве я ощущал это как скуку и грусть. Чувство печали, проникшее в город и никак его не покидающее, давало о себе знать, например, когда я слушал музыку в турецком стиле (бабушка, сама этого не замечая, отбивала такт носком тапочки), – тогда я чувствовал, что, если не хочу погрузиться в болото смертельной скуки, мне пора уходить в мир воображения.

Другой способ избежать грусти и скуки – пойти с мамой на улицу. В то время не было обычая водить детей в парки и сады, чтобы они подышали свежим воздухом, поэтому дни, когда меня брали на улицу, были особенными. «А я завтра пойду на улицу!» – с гордостью говорил я сыну моей тети, который был моложе меня на три года. Мы спускались по округлой лестнице, потом останавливались перед маленькими окошками квартиры швейцара, большая часть которой находилась ниже уровня земли (окошки выходили на дверь, чтобы можно было видеть, кто входит в дом и выходит из него), – здесь мама в последний раз проверяла, в порядке ли моя одежда и все ли пуговицы застегнуты, – и, наконец, выходили на улицу. «Улица!» – шептал я восхищенно.

Солнце, чистый воздух, тепло. Дома у нас иногда бывало так темно, что когда я выходил на улицу, мои глаза на мгновение слепли, как бывает, когда летним днем раздернешь шторы. Сначала мне очень нравилось идти с мамой за руку по тротуарам и разглядывать витрины. За запотевшими стеклами цветочной лавки красовались цикламены, похожие на разноцветных длинноносых волков; в витрине обувного магазина в воздухе висели ботинки, и я старался рассмотреть лески, на которых они были подвешены; в витрине лавки канцелярских принадлежностей был выставлен учебник, точь-в-точь такой, как у моего брата, – знак того, что жизнь других людей похожа на жизнь обитателей нашего дома (это было первое, что я уяснил, гуляя по улицам). Рядом с мечетью Тешвикийе, где хоронили всех тех, кто умирал в нашем районе, находилась школа, в которую ходил мой брат и в которую через год должен был пойти и я. Дома брат часто с восторгом говорил о «своем учителе», и я поэтому считал, что у каждого ученика в школе есть свой персональный учитель, подобно тому как у каждого ребенка есть своя няня. Когда на следующий год я пошел в школу и увидел, что на битком набитый класс из тридцати двух человек приходится один учитель, то был этим разочарован и огорчен – как и тем, что нахожусь вдалеке от домашнего уюта и от мамы и чувствую себя песчинкой среди такого количества людей. Иногда мы заходили в лавку крахмальщика, где крахмалили папины рубашки; здесь пахло паром, как в цветочной лавке. Когда мама заходила в «Ишбанкасы»⁹, я, не объясняя причины, никогда не поднимался с ней по шести деревянным ступенькам к окошечку кассы – дело в том, что я вообразил себе, что, поднимаясь по этим ступенькам, непременно упаду в один из промежутков между ними и навеки там потеряюсь. «Почему ты сюда не идешь?» – вопрошала мама сверху, стоя в очереди к кассе. Я не отвечал; в страхе, что не смогу объяснить причину своего поведения и оно покажется странным, я начинал воображать себя кем-то другим (при этом время от времени проверяя, на месте ли мама), представлял, что нахожусь не в банке, а во дворце или на дне колодца... Если мы направлялись в сторону района Османбей или Харбийе, в моих фантазиях появлялся летящий конь с рекламы бензоколонок «Мобил», которая занимала целый торец здания на углу. В моем воображении кружились пасти и ноздри коней, волков и других страшных созданий, и я думал о том, как падаю в одно

⁹ *Ишбанкасы* – один из крупнейших банков Турции.

из тех отверстий и исчезаю там. На пути нам встречалась лавка одной старой гречанки – она штопала нейлоновые чулки и торговала пуговицами и ремнями; еще она продавала яйца «из деревни», которые, словно драгоценности, по одному доставала из лакированной шкатулки с таким видом, как будто это было нечто очень редкое. В лавке стоял маленький аквариум, в котором медленно покачивались красные рыбки; когда я дотрагивался до стекла пальцем, они, желая его съесть, решительно разевали свои маленькие, но все-таки страшные рты – это было глупо и забавно. Дальше мы заходили в лавку, которую держали Якуп и Василь. В этой лавке продавались журналы, канцелярские принадлежности и табак, но она была такая маленькая, что часто мы не могли в нее попасть – такая там была толкучка. Следующая лавка, в которой продавался кофе, была известна как «Лавка араба», – ее владелец был негром, а тех немногих негров, которые жили в Стамбуле, все называли арабами, подобно тому как некогда в Латинской Америке всех арабов называли турками. Там стояла огромная, оборудованная движущимися ремнями машина для измельчения кофейных зерен. Когда она начинала работать, сотрясаясь, как стиральная машинка, которая стояла у нас дома, я отходил от нее немного в сторону, а «араб», заметив мой страх, добродушно улыбался. В последующие годы со сменой моды и колебаниями спроса эти лавки закрывались, в их помещениях открывались другие лавки, которые, в свою очередь, тоже закрывались. Тоскуя о прошлом, мы с братом, упражняя память, перебрали всю их сорокалетнюю историю. Один из нас, например, говорил: «Лавка напротив женского вечернего лица была сначала кондитерской, которую содержала гречанка, потом там продавали цветы, потом – сумки, потом – часы, потом там некоторое время был спортивный тотализатор, потом она стала картинной галереей, где еще торговали книгами, и, наконец, она стала аптекой».





А вот лавка Алааддина, напоминающая своим полумраком пещеру, пятьдесят лет подряд продолжала торговать табачными изделиями, игрушками, газетами и канцелярскими принадлежностями. Еще перед тем, как войти в нее, я задумывал, что попрошу маму купить: свисток, или несколько шариков, или книжку-раскраску, или игрушку йо-йо. Как только покупка исчезла в маминой сумке, мне все сильнее хотелось вернуться домой.

«Пройдемся до парка», – говорила мама.

Тут внезапно мои ноги и все туловище охватывала странная тяжесть и апатия, переползающая из тела в душу. Многие годы спустя, когда я сам выводил свою дочь, которой было столько же лет, сколько мне тогда, на прогулку по этим самым улицам, я слышал от нее такие же жалобы. Поговорив с доктором, я попытался убедить себя, что эта наследственная усталость и скука – нечто среднее между болезнью роста, сказывающейся на ногах, и обычным утомлением. По мере того как усталость и скука все сильнее обволакивали мою душу, все улицы и витрины, на которые мне уже не хотелось смотреть, потихоньку теряли свои краски, и город становился для меня черно-белым.

«Мама, возьми меня на ручки».

«Дойдем до Мачки, – говорила мама, – а там сядем на трамвай».

Я любил этот трамвай, ходивший по нашей улице с 1914 года и соединявший районы Мачка и Нишанташи с площадью Таксим, Тюнелем, Галатским мостом, с бедными и обветшалыми историческими районами Стамбула, которые тогда представлялись мне какой-то другой страной. Любил его звук-стон, похожий на печальную музыку, доносившийся до меня по вечерам, когда я рано ложился спать; салон, отделанный деревом; стекло цвета индиго в закрытой дверце, отделяющей кабину водителя от мест пассажиров; водителя, который на конечной остановке, пока мы с мамой ожидали отправления, разрешал мне поиграть с рукоятками рычагов... На обратном пути улицы, дома и даже деревья казались мне черно-белыми.

5 Черно-белое

Стамбул моего детства – черно-белый, как старые фотографии, погруженный в полутьму, свинцово-серый город. Таким он был для меня и таким остался в моей памяти – отчасти потому, что я, хотя и рос в печальном музейном полумраке, был привязан к нашему дому. Улицы, проспекты, отдаленные районы казались мне полными опасностей, как в черно-белых фильмах про гангстеров. Я всегда больше любил зимний Стамбул, чем летний, – мне нравятся рано опускающиеся вечерние сумерки, нравится смотреть на дрожащие под порывами северо-восточного ветра голые ветви деревьев и на людей в черных пальто и куртках, спешащих домой по полутемным улицам, в дни, когда осень переходит в зиму. Вид некрашенных, неухоженных стен домов и ветшающих особняков, которые со временем приобретают особый, стамбульский цвет, ласкает мой взгляд и пробуждает во мне сладостную грусть. Когда я смотрю на черно-белые фигуры людей, торопящихся домой в рано сгустившейся темноте зимнего вечера, то чувствую себя частью этого города, чувствую, что я не чужой этим людям. Мне кажется, что вот сейчас ночная тьма скроет бедность жизни, улиц и вещей и все мы, укрывшиеся в своих домах, отдыхающие в своих постелях, окунемся в мир грез и фантазий, сотканных из легенд и воспоминаний о канувших в небытие величественных зданиях и оставшемся в далеком прошлом богатстве Стамбула. И за то еще люблю я эту поэтическую темноту холодных зимних вечеров, опускающуюся, не боясь тусклых фонарей, на безлюдные окраины, что она укрывает нас от чужих западных глаз, скрадывает бедность нашего города, которой мы стыдимся.



Порой я вспоминаю одну сделанную Арой Гюлером¹⁰ фотографию, замечательно передающую атмосферу вечерних черно-белых сумерек, которая и делает для меня Стамбул Стамбулом. На фотографии – пустынная улица на окраине города, ничего не освещающий тусклый фонарный свет, бетонные и деревянные дома, такие, какими они были в годы моего детства (позже деревянные дома постепенно разрушались, и на их месте появлялись бетонные, которые для меня были как бы их продолжением, будили во мне те же чувства). Кроме брусчатки, оставшейся с тех лет, когда я был ребенком, железных решеток на окнах, пустых и обветшавших деревянных домов, мне в этой фотографии нравится ощущение сгущающихся сумерек и эти двое, идущие домой: за ними тянутся тени и они словно ведут с собою в город ночь.

В 1950–1960-е годы в любом уголке Стамбула можно было встретить небольшие съемочные группы: микроавтобус; два огромных софита, работающие от генератора; чрезмерно накрашенная актриса и ее партнер, вечно забывающие свои реплики; суфлер, не шепчущий, а орущий изо всех сил, чтобы перекрыть гул генератора; киноработники, пинками и оплеухами разгоняющие ребятню из зоны съемки; и созерцающая все это толпа любопытных, среди которых часами мог стоять и я. Через сорок лет, когда турецкая киноиндустрия пришла в упадок – в первую очередь из-за бездарности сценаристов, актеров и продюсеров, отчасти же из-за недостатка средств для соперничества с Голливудом, – эти черно-белые фильмы впервые стали показывать по телевидению. Когда я вижу запечатленные в них уличные сценки, старые сады, берега Босфора, ветхие особняки и многоквартирные дома, такие же черно-белые, какими сохранились они в моей памяти, мною порой овладевает ощущение, что не фильм я смотрю, а вижу свои ожившие воспоминания. И тогда на какое-то время я с головой погружаюсь в меланхолию.

Неотъемлемой частью этого черно-белого Стамбула была уличная брусчатка, на которую я не могу смотреть без волнения каждый раз, когда замечаю ее в старых фильмах. Когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет и в мечтах я видел себя художником-импрессионистом, рисующим стамбульские улицы, мучительный процесс вырисовывания брусчатки – камень за камнем – доставлял мне удовольствие. До того как по воле усердных местных властей мощенные брусчаткой улицы были безжалостно покрыты слоем асфальта, водители долмушей¹¹ и такси постоянно жаловались, что от езды по брусчатке машины очень быстро изнашиваются. И на другую напасть сетовали шоферы долмушей своим пассажирам – при ремонте канализации или электрических кабелей посреди улиц то и дело рыли траншеи. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как перед рытьем траншеи рабочие по одному вытаскивают камни из мостовой, а еще больше – за тем, как после окончания казавшихся бесконечными раскопок (иногда траншея натыкалась на какой-нибудь туннель византийских времен) они с непостижимой для меня ловкостью, словно расстилая ковер, укладывают камни на место.

¹⁰ Ара Гюлер – знаменитый турецкий фотограф. Работал фотокорреспондентом различных турецких изданий, фотографировал, в частности, У. Черчилля, П. Пикассо и С. Дали.

¹¹ Долмуши – вид общественного транспорта в Турции, маршрутное такси.



Стамбул был для меня черно-белым еще и потому, что особняки времен моего детства, в сущности, нельзя было назвать особняками – это были просто большие полуразрушенные

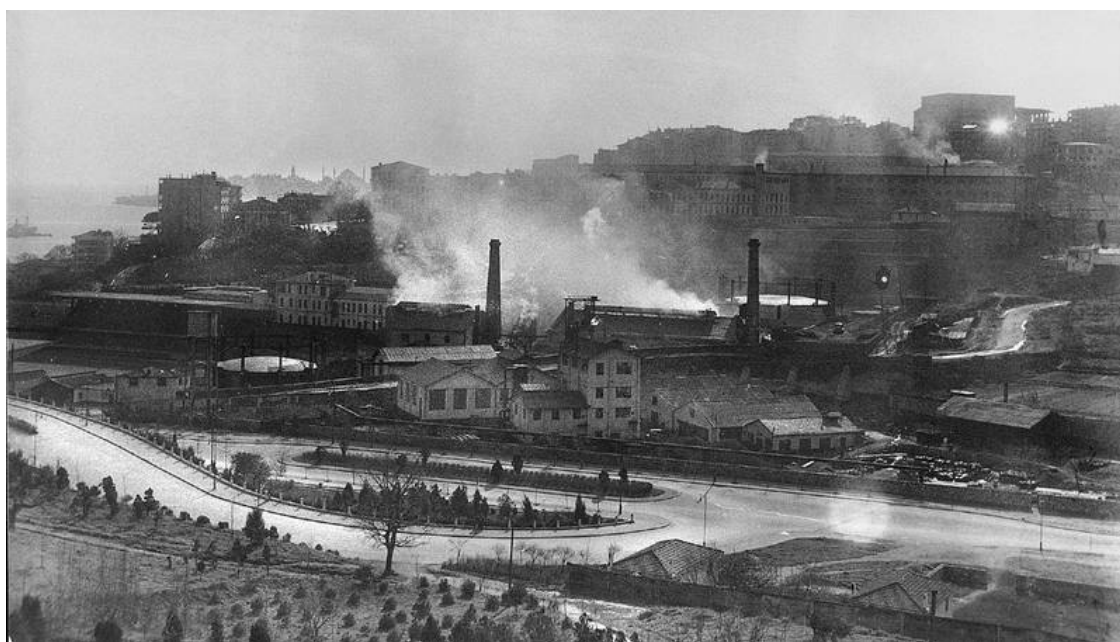
дома. Из-за бедности и по небрежению их совсем не красили, и от холода, сырости, грязи и возраста они потихоньку темнели, приобретая свой особенный цвет, тоскливый, но при этом пугающе красивый. В детстве я видел на окраинах целые ряды таких домов, стоящих бок о бок, и думал поэтому, что они изначально были такого цвета. Возможно, некоторым из них, стоящим на самых бедных улицах, этот серый, местами с коричневым отливом окрас и был присущ с самого начала. Однако в записках путешественников, приезжавших в Стамбул из Европы в XIX веке и ранее, говорится о том, что яркие цвета, в которые были окрашены дома, особенно те из них, которые принадлежали людям богатым, придавали городу блеск и пышную красоту. Бывало, я в детстве представлял себе, что было бы, если бы все деревянные дома разом покрасили; но потом, когда эти старые, почерневшие стены и порождаемая ими особая атмосфера исчезли из города и из моей жизни, я стал сильно по ним скучать. Летом деревянные дома приобретали темно-коричневый или матово-белый цвет и становились такими до хруста сухими и хрупкими, что, казалось, одной искры хватит, чтобы они вспыхнули, как сосновая щепка; зимой же, после длительных холодов, снега и дождей, они начинали источать совершенно особый запах сырости, плесени и досок. Точно так же манили меня к себе и будили во мне то же смешанное чувство страха и любопытства опустевшие деревянные здания дервишеских обитателей (принятые после установления республики законы запрещали совершать в них религиозные обряды), в которые в течение многих лет проникали только малолетние сорвиголовы, привидения и охотники за антиквариатом. Жадно и настороженно вглядывался я в эти дома с разбитыми окнами, виднеющиеся за полуразрушенными оградами и мокрыми деревьями.



Мне нравятся нарисованные черной тушью изображения Стамбула, сделанные путешественниками с Запада, например Ле Корбюзье, – они так соответствуют моему черно-белому видению города; нравятся и нарисованные от руки черно-белые комиксы, действие которых происходит в Стамбуле. (В детстве я долгие годы надеялся, что Эрже нарисует приключения Тантана¹² в Стамбуле, но этого так и не случилось. Однако первый фильм о Тантане (успехом он не пользовался) был снят в Стамбуле в 1962 году. Существует комикс «Тантан в Стамбуле», скомпонованный местным умельцем из зарисованных кадров того фильма и рисунков, взятых из других историй про Тантана.) Еще я люблю старые, черно-белые газеты. Когда я читаю в них сообщения об убийствах, самоубийствах и грабежах, во мне просыпается забытый детский страх и тоска по прошлому.

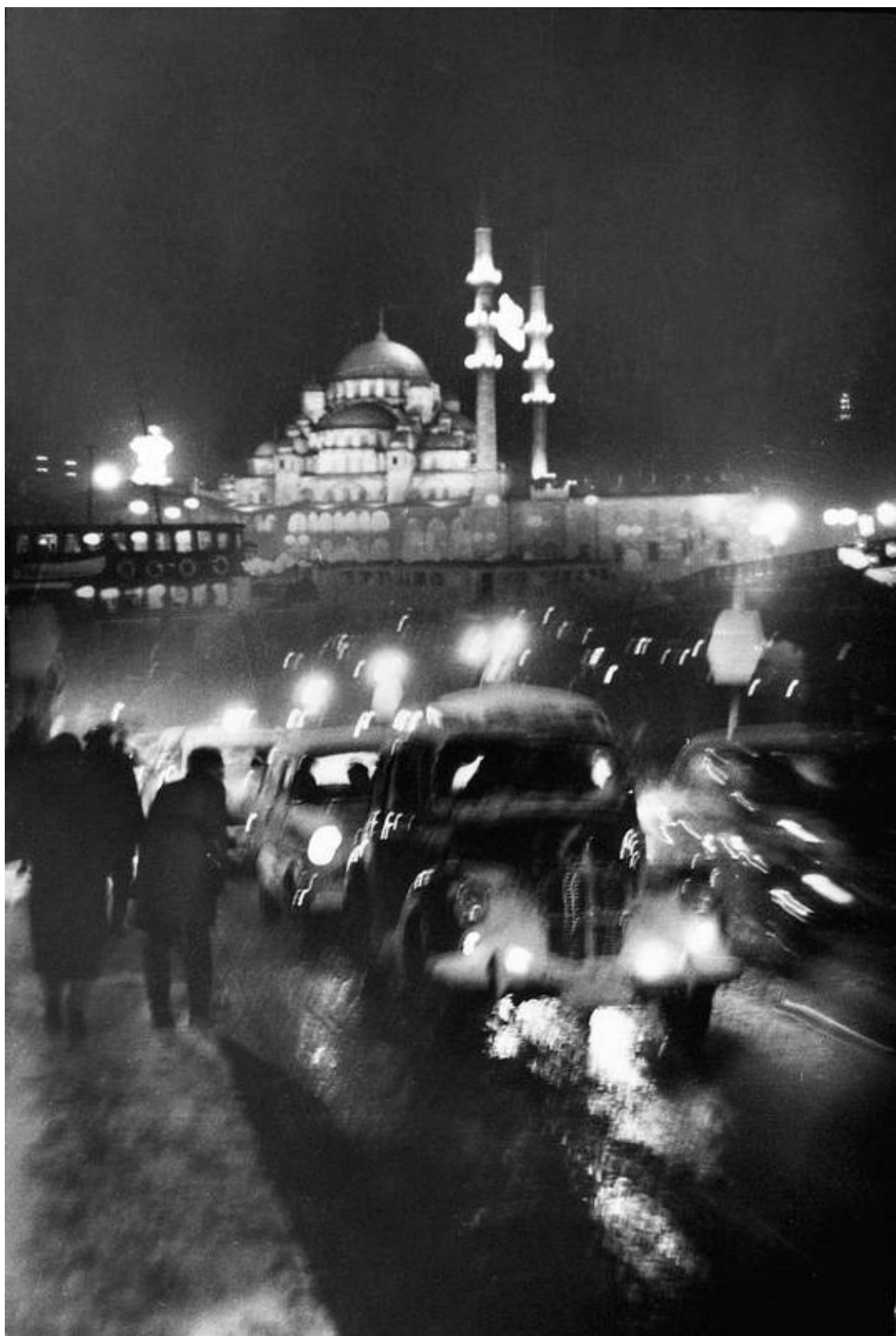
¹² Тантан – герой популярных комиксов бельгийского художника Эрже (настоящее имя – Жорж Реми).

Черно-белая атмосфера Стамбула, о которой я пытаюсь рассказать, все еще живет на улочках Тепебаши, Джихангира, Галаты, Фатиха, Зейрека, Ускюдара¹³ и некоторых босфорских деревень. Когда в хмурые, туманные утренние часы или в дождливые и ветреные ночи я вижу стаи чаек, сидящих на куполах мечетей, грязный воздух, печные трубы, высовывающиеся из окон, подобно пушечным стволам, извергающим грязный дым, ржавые мусорные баки, пустынные и заброшенные зимние парки и сады, когда я смотрю на людей, зимними вечерами спешащих по снегу и слякоти к себе домой, – во мне рождается черно-белое, горько-радостное чувство. Встречающиеся тут и там разбитые источники, в которых уже несколько веков не журчит вода; разношерстные лавки, сами собой возникающие на окраинах вокруг старых больших мечетей, на которые никто уже не обращает внимания; стайки школьников в черных фартуках и белых воротничках, высыпавшие вдруг из дверей начальной школы; груженные углем усталые старые грузовики; потемневшие от старости, пыли и пустоты помещения бакалейных лавочек; маленькие кофейни, в которых сидят грустные безработные; горбатые, покосившиеся тротуары; кипарисы, которые кажутся мне не темно-зелеными, а черными; расползшиеся по склонам холмов старые кладбища; полуразрушенные городские стены, похожие на мощенные брусчаткой улицы, поставленные набок; фасады кинотеатров, со временем становящиеся какими-то неуловимо одинаковыми; магазинчики, в которых торгуют мухаллеби¹⁴; продавцы газет, стоящие на тротуарах; пьяницы, бродящие в полночь по улицам; тусклые уличные фонари; пароходы городских линий, ходящие по Босфору; дым, поднимающийся из труб, и укрывающий город снег – вот он, мой черно-белый Стамбул.



¹³ Районы Стамбула в европейской и азиатской частях города.

¹⁴ *Мухаллеби* – традиционный турецкий напиток, молочный кисель на рисовой муке.



Я не могу представить Стамбул моего детства без снега. С тем же нетерпением, с каким некоторые дети ждут не дождутся летних каникул, чтобы куда-нибудь поехать, я в детстве ждал, когда же выпадет снег, — не потому, что хотел играть на улице в снежки, а потому, что город, укрытый снегом, казался мне более красивым. Однако надо сказать, что эта красота, скрываю-

щая грязь, слякоть, щели и неухоженность, порождала в городе не столько ощущение неожиданной новизны, сколько атмосферу тревоги и даже стихийного бедствия. Снег, который за зиму шел всего несколько раз и оставался лежать чуть дольше недели, каждый раз заставлял стамбульцев врасплох, словно они впервые в жизни сталкивались с таким явлением. На дорогах возникали заторы, у хлебных лавок тут же выстраивались очереди, словно в дни войны или стихийных бедствий; но главное – снег заставлял всех горожан испытывать чувство общности. Город и его обитатели, оторванные от остального мира, оставались один на один с самими собой, и поэтому в снежные зимние дни Стамбул становился более пустынным и, как мне казалось, похожим на тот город, каким он был когда-то, в сказочные дни своего прошлого.

Одним из объединяющих город удивительных природных явлений, воспоминания о которых остались у меня с детства, было появление в Босфоре льдин. Их принесло течением из Черного моря, куда они, в свою очередь, попали из Дуная. Поскольку Стамбул все-таки средиземноморский город, это пугающее своей необычностью, удивительное и незабываемое событие вызвало у горожан детский восторг; о нем вспоминали и рассказывали на протяжении многих лет.





Одна из причин черно-белого восприятия, конечно, заключается в том, что Стамбул, красивый город с удивительной историей, обнищал, состарился и поблек, впал в небрежение и оказался отодвинутым на обочину жизни. Другая же причина – в том, что даже во времена самого пышного расцвета Османской империи ее архитектуре были свойственны простота и строгость. Печаль, оставшаяся после падения огромной империи, и ощущение того, что по сравнению с жителями Европы, которая географически расположена не так уж и далеко, стамбульцы приговорены к вечной бедности, похожей на неизлечимую болезнь, питают дух замкнутости Стамбула.

Благодаря черно-белой атмосфере, объединившей стамбульцев единой судьбой и поэтому неистребимой, отчетливее ощущается, насколько печален этот город. Чтобы лучше понять эту атмосферу, нужно прилететь в Стамбул на самолете из какой-нибудь богатой европейской столицы и сразу отправиться на людные улицы или зимним днем выйти на Галатский мост в самом сердце города и увидеть идущих по нему людей, облаченных в одежды неопределенного тускло-серого цвета. Современные стамбульцы, в противоположность нашим богатым и надменным предкам, очень редко одеваются ярко – красного, оранжевого или зеленого цвета здесь не увидишь. При взгляде на них иностранцу кажется, что эти люди, в силу неких тайных моральных принципов, стремятся не привлекать внимания к своему внешнему виду. Но дело тут не в моральных принципах, а в тяжелой печали, порождающей скромность. Ощущение поражения и утраты, постепенно проникавшее в город на протяжении последних полутора веков, оставило отпечаток бедности и обветшания на всем – от черно-белых пейзажей Стамбула до одежд его обитателей.

Все западные путешественники, приезжавшие в Стамбул в XIX веке, – от Ламартина¹⁵ и Нерваля¹⁶ до Марка Твена – в своих путевых заметках писали о том впечатлении, которое произвели на них бродящие по городским улицам собачьи стаи, привносящие некоторую напря-

¹⁵ Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790–1869) – французский поэт и государственный деятель.

¹⁶ Жерар де Нерваль (1808–1855) – французский писатель.

женность и в мое черно-белое восприятие Стамбула. Они до сих пор свободно, никого не боясь, бродят по городу, эти стаи, состоящие из похожих друг на друга собак неопределенного цвета – пепельно-серых, выцветших или пестрых; они служат напоминанием о том, что, несмотря на все усилия европеизации и модернизации, военные перевороты, государственную и школьную дисциплину, несмотря на устройство муниципалитетов по западному образцу и на все красноречие их руководителей, в Стамбуле могущество государственной власти отступает перед всеобщим ощущением тщетности, заброшенности и сожаления.





Укрепляет черно-белое восприятие и то, что жители оставшегося в прошлом Стамбула победных красочных времен не могли нарисовать свой город таким, каким он был на самом деле. В Османской империи не существовало изобразительного искусства, которое мы сегодня могли бы с легкостью воспринимать. Нигде вы не найдете ни одной статьи или книги, которая могла бы подготовить вас к восприятию османского или классического персидского рисунка. Художники османских времен (самый яркий пример – Насух Матракчи¹⁷, находясь под влиянием персидского искусства миниатюры, видели Стамбул не объемным, а плоским, как карта. (Так и для придворных поэтов, воспевавших и прославлявших Стамбул, он был не реальным городом, а всего лишь словом.) Как и поэтов, пишущих сурнаме¹⁸, художников интересовали слуги и ремесленники султана, богато украшенное оружие и одежды, поэтому город они изображали не как место, где идет повседневная, будничная жизнь, а как сцену, на которой совершаются официальные церемонии, как если бы на всем протяжении какого-нибудь фильма камера была неподвижно нацелена в один угол, где происходят важные события.

Таким образом, когда в газете, журнале или в школьном учебнике нужно было поместить изображение Стамбула в прошлом, издатели использовали черно-белые гравюры, сделанные с рисунков европейских путешественников и художников, – их легче воспринимали миллионы читателей, привыкших к фотографиям и почтовым открыткам. Стамбул самых радостных своих времен был нарисован неярко гуашью (подробнее я расскажу об этом в главе, посвященной Меллингу), но стамбульцы не увидели и этих красок. По чисто техническим причинам, с которыми они, не протестуя, смирились как с неизбежностью, стамбульцы вынуждены

¹⁷ Насух Матракчи (?–1564) – турецкий ученый, историк и художник.

¹⁸ Сурнаме – иллюстрированная книга, посвященная описанию торжественных процессий и церемоний (сурнаме назывались и сами такого рода процессии и церемонии).

видеть прошлое своего города исключительно черно-белым. И этот взгляд как нельзя лучше соответствует печали, в которой они живут.



В годы моего детства ночам была присуща особая красота – их поэтическая тьма, в точности как снег, укрывала суматоху и усталость обедневшего города. Когда я был маленьким, высоких зданий в городе еще было мало, и ночь поэтому ложилась на Стамбул не грубо и плоско – нет, она изящно обвивала его прихотливые изгибы и холмы, дома, ветви деревьев, летние кинотеатры, балконы и оставленные открытыми окна. Гравюра, сделанная в 1839 году Томасом Алломом для книги о путешествиях, нравится мне потому, что темнота на ней становится фоном таинственной сказки. Я люблю полнолуние, спасающее ночь от непроглядной тьмы, люблю лунный свет, который так много значит для всякого стамбульца, – но еще больше люблю, когда этот свет неярок, когда на небе полумесяц или, как на этой гравюре, на лик луны наползает облако, словно прикручивают фитилек лампы перед тем, как совершить преступление. При таком свете становится понятнее пагубность таинственной силы темноты.

Ночь, именно потому, что она делает город похожим на сон, на сказку, потому, что она – источник таинственного зла, усиливает черно-белую атмосферу Стамбула. Взгляд путешественника-европейца на ночную темноту как на таинственный покров, укрывающий этот загадочный город, способствующий совершению новых неприглядных деяний, похож на взгляд стамбульца, не понимающего сути плетущихся во дворцах интриг и заговоров. И иностранные путешественники, и сами стамбульцы очень любили истории об убитых злоумышленниках или женщинах из гарема, тела которых выносили из двери в дворцовой стене, выходящей на Золотой Рог, и на лодке отвозили в море.



В 1958 году, еще до того, как я научился читать и писать, в Стамбуле было совершено преступление, известное как «Саладжакское убийство», среди обстоятельств которого было то, к чему меня так тянуло: ночь, лодка, воды Босфора... Память о нем не только вплелась в существующий в моем сознании черно-белый образ босфорских вод, но и осталась со мной на всю жизнь страшным видением. Впервые я услышал об этом событии из разговоров у нас

дома; о нем говорил весь Стамбул и писали все газеты, пока оно не стало чем-то вроде легенды. Одна женщина попросила молодого бедного рыбака покатасть ее вместе с двумя детьми и их подружкой на лодке по морю. Рыбак был пьян; он захотел изнасиловать женщину и, вышвырнув детей из лодки, утопил их. «Зверь из Саладжака» навел на город такой страх, что нам с братом некоторое время запрещали не только вместе с рыбаками ставить сети рядом с нашим летним домиком на Хейбелиаде, но даже выходить одним в сад, окружающий его. И сейчас, многие годы спустя, когда я читаю в стамбульских газетах сообщения о преступлениях (а занятие это мне очень нравится), в моем воображении возникает черно-белое видение: барахтающиеся в воде дети, пытающиеся ухватиться за борт лодки, крики их матери и рыбак, молотящий веслом по их головам.

6 На Босфоре

После Саладжакского убийства мы с мамой и братом больше не катались на лодке по Босфору. Однако до этого какое-то время мы каждый день совершали лодочные прогулки, поскольку предыдущей зимой и я, и брат перенесли коклюш. Сначала заболел брат, а через десять дней, заразившись от него, слег и я. У болезни была своя приятная сторона: мама стала очень ласковой, часто говорила нежные слова, так нравившиеся мне, приносила игрушки, которые я просил купить. Страдал же я больше не из-за самой болезни, а из-за того, что не мог присутствовать на семейных обедах и ужинах у нас или этажом выше. Я мог только с любопытством прислушиваться к доносящимся издали застольным разговорам, шуткам и стуку вилок и ножей по тарелкам.





К нам приходил детский врач по имени Альбер, в котором нас пугало все – от усов до чемоданчика. После того как жар у меня и у брата спал, он в качестве лечения посоветовал маме в течение определенного времени ежедневно совершать с нами прогулки по Босфору, чтобы мы могли подышать воздухом. Так в голове у меня слово «Босфор» перепуталось с понятием «подышать воздухом», тем более что по-турецки Босфор называется Богаз¹⁹. Возможно, поэтому я не очень удивился, когда узнал, что сто лет назад Тарабья²⁰, которая тогда была не популярным местом прогулок, изобилующим ресторанами и отелями для туристов, а тихой греческой рыбацкой деревушкой (в которой прошли детские годы знаменитого поэта Кавафиса²¹), называлась Терапией. И быть может, именно потому, что понятия «Босфор» и «лечение» слились в моем сознании, вид Босфора всегда действует на меня благотворно.

Босфор противостоит ощущению поражения, краха, подавленности, печали и бедности, потихоньку разлагающему город. В моем сознании он неразрывно связан с волей к жизни, полнотой чувств и радостью. Босфор – душа Стамбула, в нем город черпает силы. Между тем раньше горожане не очень ценили Босфор – для них он был просто живописным проливом, служащим для прохода судов, а в последние двести лет его побережье стало еще и местом для строительства летних дворцов и особняков.

¹⁹ Богаз (тур. *Boğaz*) – пролив; основное значение – «горло».

²⁰ Тарабья – район в европейской части Стамбула на берегу Босфора.

²¹ Константинос Кавафис (1863–1933) – греческий поэт. В 20-летнем возрасте переехал из Стамбула в Александрию.



До поры до времени на берегах Босфора располагались только греческие рыбацкие деревушки; но начиная с XVIII века здесь начали строить ялы²² для представителей высших кругов Османской империи, и тогда Гёксу, Кючюксу, Бебек, Кандилли, Румелихисары и Канлыджа²³ стали очагами закрытой для чужеземных влияний стамбульской, османской культуры. Ялы, которые строили для себя османские паши и вельможи, а в последние годы существования империи – и просто богачи, в XX веке, в годы подъема патриотизма, связанного с установлением республики, стали символом турецко-османской самобытности вообще и образцом ее в архитектуре в частности. Архитектор Седад Хаккы Эльдем собрал чертежи этих домов, их старые фотографии и гравюры, сделанные в числе прочих Меллингом, в книге, которую озаглавил «Воспоминания на Босфоре»; ялы служили ему источником вдохновения, когда он проектировал свои «модернизированные» здания – у них такие же узкие высокие окна, широкие карнизы, тонкие трубы и узкие эркеры. Но и здания Седада Хаккы Эльдема, и творения его подражателей – всего лишь тени той навсегда ушедшей в прошлое культуры.

Автобусный маршрут Таксим – Эмирган в 1950-е годы проходил и через Нишанташи. Отправляясь на Босфор, мы с мамой обычно садились на автобус, который останавливался напротив нашего дома. Иногда ехали на трамвае, который довозил нас до Бебека; оттуда мы долго шли вдоль берега, пока не доходили до того места, на котором нас каждый день ждал лодочник. Мне очень нравилось плыть на лодке по бухте Бебек мимо маяка среди других лодок, катеров, пароходов городских линий и шаланд с облепленными мидиями бортами, нравилось ощущать силу течения Босфора и покачиваться на волнах, поднятых проходящими рядом судами. Мне не хотелось, чтобы прогулка кончалась.

Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря. Человек, быстро плывущий на пароходе по беспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в людском муравейнике, можно оставаться одиноким, свободным. Это водное пространство в центре города не похоже ни на амстердамские или венецианские каналы, ни на реки, делящие пополам Париж и Рим, – нет, здесь движутся морские течения, дуют вольные ветры и волны вздымаются над темными глубинами. Вы плывете, подхваченные течением, лавируя между пароходами городских линий, мимо тетушек, которые,

²² Ялы – деревянный особняк на берегу Босфора.

²³ В наши дни – районы Стамбула на берегу Босфора.

поглядывая на вас, пьют чай; мимо многоэтажных зданий и ялы; мимо пристани и увитого вьюном кафе; мимо мальчишек, прыгающих в море со сточной трубы и греющихся растянувшись на асфальте; мимо рыбаков, сидящих с удочками на берегу, и катеров с подремывающими пассажирами; мимо учеников, выходящих из школы и идущих вдоль берега с портфелями в руках; мимо пассажиров застрявшего в пробке автобуса, выглядывающих из окон; мимо чинар (теперь вы видите, какие они высокие); мимо особняков, утопающих в садах (с берега их почти не видно, поэтому вы замечаете их, только когда плывете по Босфору); мимо карабкающихся по крутым склонам улиц, ведущих к далеким холмам, и высотных зданий... И за всем этим вырастает и проплывает перед вами Стамбул – мечети, далекие кварталы, мосты, минареты, башни, сады, новостройки, которых все больше с каждым днем... Проплывая по Босфору на пароходе, катере или, как я в детстве, на лодке, можно одновременно наблюдать Стамбул вблизи, дом за домом, квартал за кварталом, и любоваться издалека непрерывно меняющимся, похожим на мираж силуэтом города на горизонте.





Даже в детстве, когда мы все вместе на машине отправлялись на прогулку, я чувствовал, что одно из самых главных достоинств Босфора – то, что здесь можно увидеть следы тех времен, когда османская цивилизация и культура стали испытывать влияние Запада, но при этом не потеряли еще своей самобытности и силы. Я разглядывал внушительную железную дверь с облупившейся краской у одного ялы, высокую и широкую, замшелую, но крепкую стену другого, не сгоревшие еще ставни и резное дерево третьего, смотрел на взбирающийся от стен особняка до самой вершины высокого холма тенистый сад, в котором росли босфорские сосны, багряник и столетние чинары, – и догадывался, что все это следы погибшей и ушедшей в прошлое цивилизации, что здесь некогда жили люди, немного похожие на нас, только жизнь у них была совсем другая. Я понимал, что времена те давно прошли, и чувствовал, что мы все-таки отличаемся от тех людей, – по сравнению с ними мы бедны, слабы и провинциальны.

Древний центр Стамбула, находящийся на полуострове, ограниченном Мраморным морем, Босфором и заливом Золотой Рог, начиная с середины XIX века стал во многом терять свой исторический облик; по мере того как империя рушилась, проигрывала одну за другой войны и разорялась, европеизирующиеся османские чиновники возводили в беднеющем и испытывающем демографический взрыв городе большие уродливые здания. Но благодаря тем же самым чиновникам, богачам и пашам в их ялы, куда они удалялись из города на лето, существовала самобытная, закрытая для внешнего мира культура. По берегу добраться до тех мест тогда было невозможно, и, даже несмотря на то что в середине XIX века туда стали ходить пароходы, они еще не совсем стали частью Стамбула. Поэтому иностранцам попасть туда было нелегко. Сами же обитатели ялы не оставили записок ни о своих домах, ни о своей изолированной культуре, поэтому наши знания в этой области опираются по большей части на ностальгические воспоминания их потомков во втором или третьем поколении.



Самый яркий из этих мемуаристов, известный писатель Абдульхак Шинаси Хисар (1887–1963), описывает «босфорскую цивилизацию» (его определение) с сентиментальностью своего

любимого Пруста и в его стиле – витиеватыми длинными фразами. Детство свое Хисар провел на вилле в Румелихисары, часть юности – в Париже, где вместе со своим другом, поэтом Яхьей Кемалем (1884–1958), изучал политологию; там же он полюбил французскую литературу. В своих книгах «Босфорские лунные ночи» и «Босфорские ялы» он стремился «на какое-то время воскресить» ту исчезнувшую самобытную культуру и воссоздать тот мир «со всем возможным старанием и тщательностью, подобно выписывающему свой орнамент художнику старинных времен».

Иногда я беру с полки и перечитываю ту часть «Босфорских лунных ночей», которая называется «Музыка тишины». Еще с утра начинаются приготовления; ночью на залитом лунным светом Босфоре появляются лодки, и люди, сидящие в них, слушая доносящуюся изда-лека музыку, любуются лунными лучами и игрой серебряных бликов на воде. Автор описывает весь день и длинную ночь, молчание, чувства и привычки этих людей и, каждый раз с особенной тщательностью, изысканные церемонии, которые сопровождали их жизнь. Мне нравится, читая, грустить о том, что никогда не попасть мне в этот затерянный в прошлом мир, нравится сердиться на автора за то, что он, тоскуя о прошлом, делает вид, будто в этом мире вовсе не было зла, источником которого служат ненависть, человеческая слабость, насилие и власть. В лунные ночи, пишет А. Ш. Хисар, когда музыка над лодками и безмятежным морем затихала, «в совершенно безветренную погоду по водной глади иногда пробегала легчайшая дрожь, явившаяся словно из самой глубины морской».

Во время наших с мамой лодочных прогулок мне казалось, что краски холмистых босфорских берегов рождаются не в солнечном свете, а благодаря едва заметному бледному сиянию, исходящему от крыш и деревьев, от крыльев внезапно мелькнувшей перед нами чайки, от стен полуразрушенной лодочной станции. Власть солнца над погодой и пейзажами Босфора не безгранична даже в самые жаркие летние дни, когда нищие мальчишки прыгают в воду с набережных. Ранними летними вечерами я люблю смотреть на удивительный свет, в котором сливаются красное сияние неба и таинственная темнота воды, и пытаться разгадать его загадку. Люблю смотреть, как медленно меняется цвет бурных пенящихся вод, несущих с бешеной скоростью попавшие в течение лодки, – так же как удивительным образом меняется цвет нарисованного Моне пруда с кувшинками, если сделать несколько шагов и посмотреть на картину под другим углом.



В середине 1960-х я каждый день ездил в свой Роберт-колледж на автобусе, ходящем из Бешикташа в Сарьер²⁴. Я любил, стоя в толпе пассажиров, смотреть, как за холмами на азиатском берегу встает солнце и темные таинственные воды Босфора, подернутые рябью, меняют свой цвет, становясь светлее. Если какой-нибудь погруженный в печальные думы человек выйдет прогуляться по берегу Босфора ближе к концу тихой безветренной летней ночи или в туманную весеннюю ночь, когда на деревьях не шевельнется ни один лист, и будет долго-долго идти в одиночестве, не слыша ничего, кроме звука своих шагов, то, когда он дойдет до какого-нибудь мыса (например, до Акынтыбурну) или до стоящего рядом с кладбищем Ашиян маяка, и внезапно услышит в ночном безмолвии грозный шум бурного течения, и в страхе заметит загадочный свет, исходящий от сияюще-белой пены, он с изумлением поймет (как в свое время я и А. Ш. Хисар), что у Босфора есть душа.

²⁴ Сарьер – район Стамбула, находящийся недалеко от Черного моря.



О цвете кипарисов и прячущихся в темных лощинах рощ говорю я и о цвете покинутых, опустевших и заброшенных ялы и невесть чем груженных дряхлых ржавых судов; о стихах, которые может понять только тот, кто прожил на этих берегах всю свою жизнь, ибо говорится в них о кораблях, плывущих по Босфору, и стоящих над его водами особняках; о том, каково жить среди развалин некогда великой и могучей цивилизации, создавшей уникальное, ни на что не похожее искусство; я говорю о ничего не знающем об истории и цивилизациях ребенке, которому искренне хочется понять этот мир, а еще хочется счастья и веселья; и о пятидесятилетнем писателе говорю я, о его сомнениях, печалих и радостях, которые называются жизнью, и о его опыте. Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о красоте Стамбула, Босфора и его

темных улиц, некий внутренний голос говорит мне: ты, подобно писателям предыдущих поколений, преувеличиваешь красоту своего города, чтобы скрыть от самого себя изъяны собственной жизни. Если город представляется нам красивым и необыкновенным, значит и наша жизнь такова. Каждый раз, когда я читал у писателей предыдущих поколений описания Стамбула и его головокружительной красоты, я, конечно, увлекался завораживающим языком повествования, но в то же время вспоминал о том, что эти писатели *уже* не жили в том большом городе, о котором рассказывают, и о том, что они предпочитали удобства *уже* европеизировавшегося Стамбула. У них я научился пониманию того, какова цена способности с неумеренным лирическим восторгом петь хвалу Стамбулу, – обладать ею может только тот, кто *уже* не живет в городе, который описывает; для того чтобы видеть красоту вещи, нужно смотреть на нее со стороны. Если писатель, в глубине души испытывающий чувство вины за это, берется разглагольствовать о ветхости и печали своего города, то он должен рассказать и о том таинственном отсвете, который они бросают на его жизнь; а если он увлеченно пишет о красоте города и Босфора, то должен помнить и о нищете своей жизни, о том, что его времена отнюдь не похожи на те, ушедшие в прошлое, времена побед и счастья.





Когда наша с мамой прогулка (за время которой мы переживали несколько «опасных» моментов – то лодку подхватит течение, то она закачается на волнах, поднятых проходящим мимо кораблем) подходила к концу, лодочник, не доезжая до мыса Румелихисары, где течение подходит очень близко к берегу, высаживал нас в Ашияне²⁵. Оттуда мы пешком шли до крепости Румелихисары, построенной в самом узком месте Босфора. Нас с братом очень занимали пушки времен Мехмеда II²⁶, поставленные у крепостной стены для красоты; в их огромных стволах, в которых по ночам спали пьяницы и бездомные, валялись осколки стекла, грязные тряпки, жестянки и окурки, глядя на которые мы понимали, что великое историческое наследие Стамбула и Босфора для большинства ныне здесь живущих – нечто темное, загадочное и непонятное.

Когда мы подходили к пароходной пристани, мама показывала на стоящее рядом маленькое кафе, на мощенную брусчаткой мостовую и тротуар рядом с ним и напоминала: «Здесь раньше стоял деревянный дом. Когда я была маленькой девочкой, ваш дедушка привозил меня сюда на лето». Этот летний дом неизменно представлялся мне страшным, старым и полуразрушенным зданием, развалюхой, вполне достойной того, чтобы исчезнуть с лица земли. Первая услышанная мною история, связанная с ним, никак не выходила у меня из головы – история о дочери паши, хозяйке дома, которая жила на первом этаже, и о том, как в середине 1930-х годов ее при загадочных обстоятельствах убили воры. Мама, заметив, какое впечатление произвела на меня эта мрачная история, меняла тему: показывая следы, оставшиеся от разрушенного лодочного сарая, она, улыбаясь (но в голосе ее чувствовалась печаль), рассказывала, как однажды дедушке не понравилась приготовленная мамой еда и он, разгневавшись, вышвырнул кастрюлю со всем содержимым из окна в глубокие и своенравные воды Босфора.

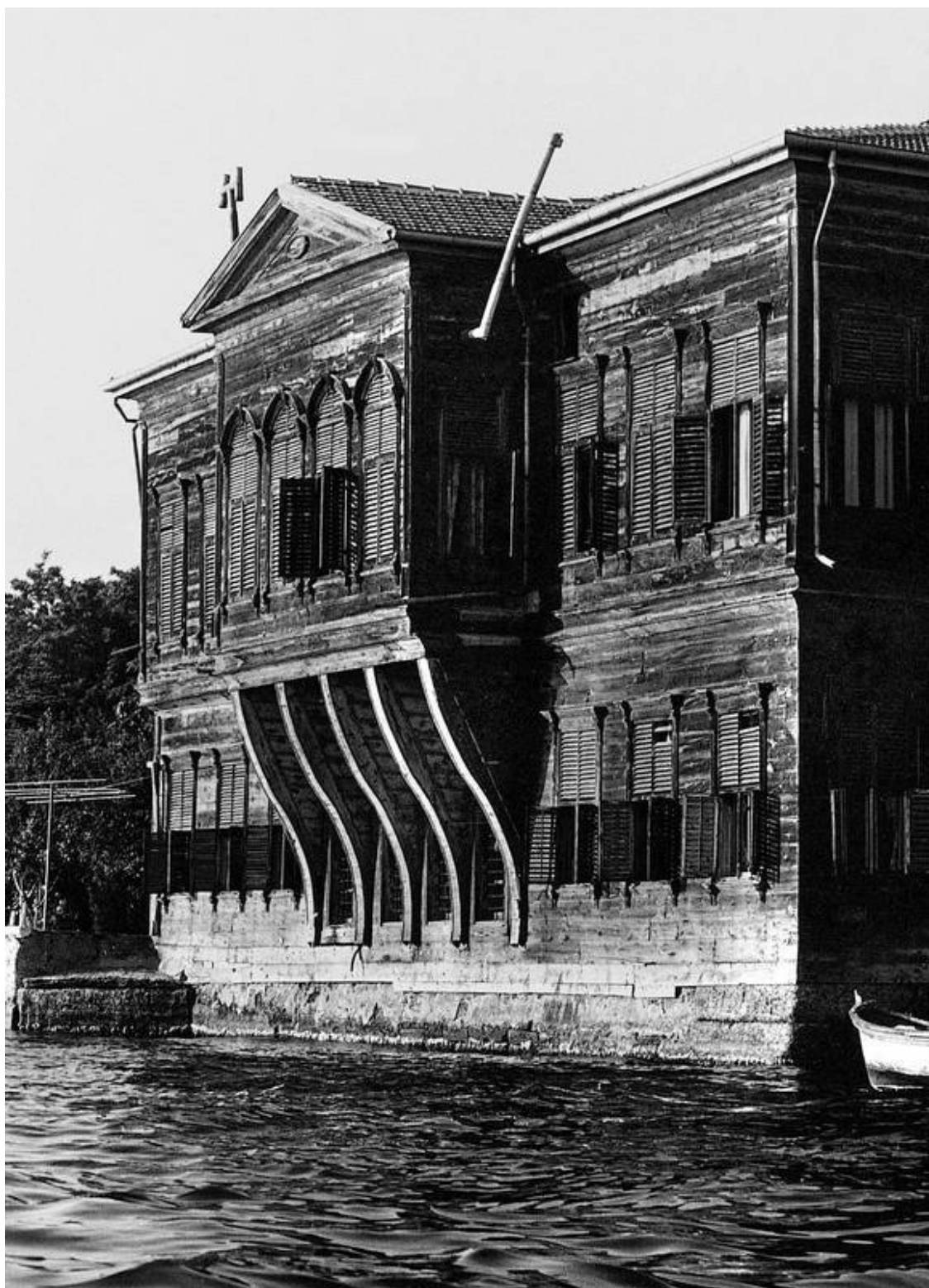
²⁵ Ашиян – район в европейской части Стамбула.

²⁶ Мехмед II Завоеватель (1432–1481) – султан, при котором в 1453 г. турками был завоеван Константинополь. Перед тем как приступить к осаде города, он построил рядом с ним крепость Румелихисары.



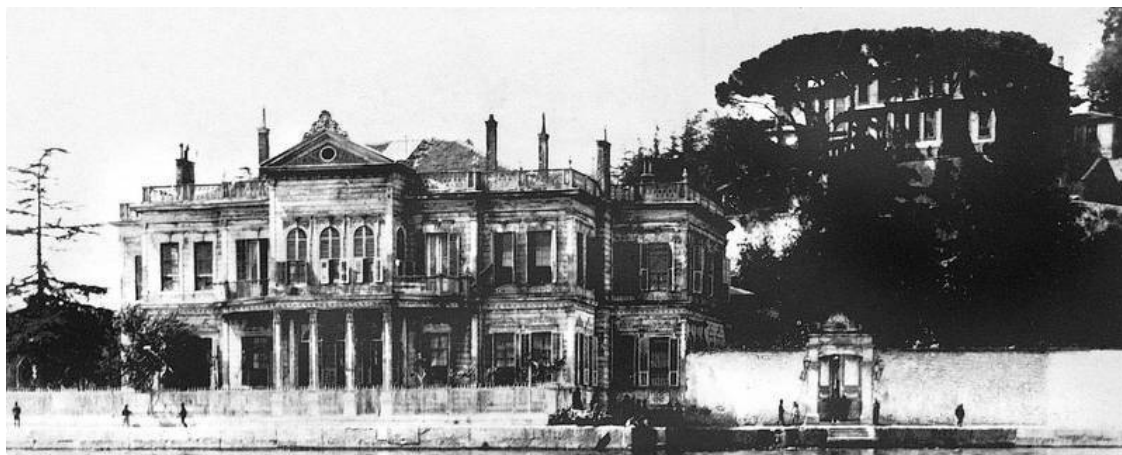
Когда мама ссорилась с отцом, она уезжала к дальним родственникам, жившим в Истинье²⁷, в ялы, окна которого выходили на верфь; я помню, как потом этот дом превратился в развалины. В годы моего детства нувориши, начинавшие обрастать жирком стамбульские буржуа, не проявляли к босфорским ялы ни малейшего интереса. Старые босфорские ялы не были приспособлены для того, чтобы жить в них зимой, когда стоят холода и дует северо-восточный ветер, прогревать их было сложно и дорого. Новые богачи республиканского периода, не столь могущественные, как османские паши, чувствовали себя в значительно большей степени европейцами, проживая в многоэтажных домах в окрестностях площади Таксим и поглядывая на Босфор издалека. Поэтому они не покупали ялы у османских семей, удалившихся от власти, у обедневших детей пашей, у родственников людей, подобных А. Ш. Хисару. В больших деревянных особняках и ялы, стоявших на Босфоре, обитали бывшие придворные, выжившие из ума, и внуки пашей, то и дело судящиеся друг с другом по поводу раздела имущества и сдающие внаем этажи, а то и отдельные комнаты. Впавшие в небрежение дома гнили, краска с них осыпалась, и деревянные стены от холода и влаги чернели; в надежде, что на этом месте построят многоэтажное здание, их часто тайком поджигали, так что за годы моего детства их стало меньше и к 1970-м годам, когда город начал быстро расти, большинство их исчезло.

²⁷ *Истинье* – район в европейской части Стамбула.



В конце 1950-х годов каждое воскресенье мы неизменно отправлялись утром на автомобильную прогулку по Босфору – подышать воздухом. За руль «доджа» 1952 года выпуска садились отец или дядя. Может быть, мою семью и печалило немного исчезновение османской культуры, но поскольку мы принадлежали к новой, республиканской буржуазии, то по поводу «босфорской цивилизации» испытывали скорее не печальное чувство утраты, а чувство гордости и довольства – ведь мы были наследниками ее величия, ее продолжением. Каждый раз, выбираясь на Босфор, мы непременно заезжали в Эмирган, где останавливались поесть халвы

в кафе «Под чинарой», совершали где-нибудь в Бебеке или Эмиргане пешую прогулку вдоль берега и смотрели на проплывающие по Босфору корабли; по дороге мама, попросив остановить машину, выходила, чтобы купить цветочный горшок или пару большущих луфарей²⁸.



Помню, что, по мере того как я выросл, эти прогулки в узком семейном кругу (папа, мама и мы с братом) стали вызывать у меня скуку и раздражение. Мелкие семейные конфликты, наше с братом постоянное соперничество и игры, переходящие в ссоры, проблемы не очень счастливой маленькой семьи, которая пытается забыть о них, сев в машину и выбравшись из дома погулять, – все это портило мне радость встречи с Босфором. Тем не менее я никогда не отказывался от этих прогулок. Когда многие годы спустя мне доводилось видеть другие семьи – ссорящиеся, невеселые и шумные, – совершающие воскресную автомобильную прогулку по Босфору, это не только напоминало мне о том, что моя жизнь не так уж не похожа на жизнь других людей, но и наводило на мысль о том, что Босфор для стамбульских семей, возможно, единственный источник радости.

²⁸ *Луфарь* – рыба семейства окунеобразных.



Приметы Босфора моих детских лет мало-помалу исчезли, подобно сгоравшим один за другим ялы, и сейчас, гуляя по его берегам, я люблю вспоминать, как все здесь было раньше.

Теперь и я с удовольствием рассказываю о том, что вот тут, например, раньше стоял дальян²⁹ и папа объяснял мне, что это – ловушка для рыбы, сделанная из особым образом расставленных сетей; о продавцах фруктов, которые на лодках плавали от ялы к ялы, предлагая свой товар; о босфорских пляжах, на которые мы ходили с мамой, и о том, как замечательно было купаться в Босфоре; о пристанях, которые одна за другой пустели и закрывались, а на их месте потом возникали дорогие закусовые; о рыбаках, причаливавших к этим пристаням на своих лодках, на которых мне строго-настрого было запрещено кататься. Но главное, то, что делает для меня Босфор Босфором, осталось неизменным с детства. Босфор для меня – неиссякаемый источник добра, оптимизма, здоровья и хорошего самочувствия, придающий городу силы, делающий жизнь в нем легче.

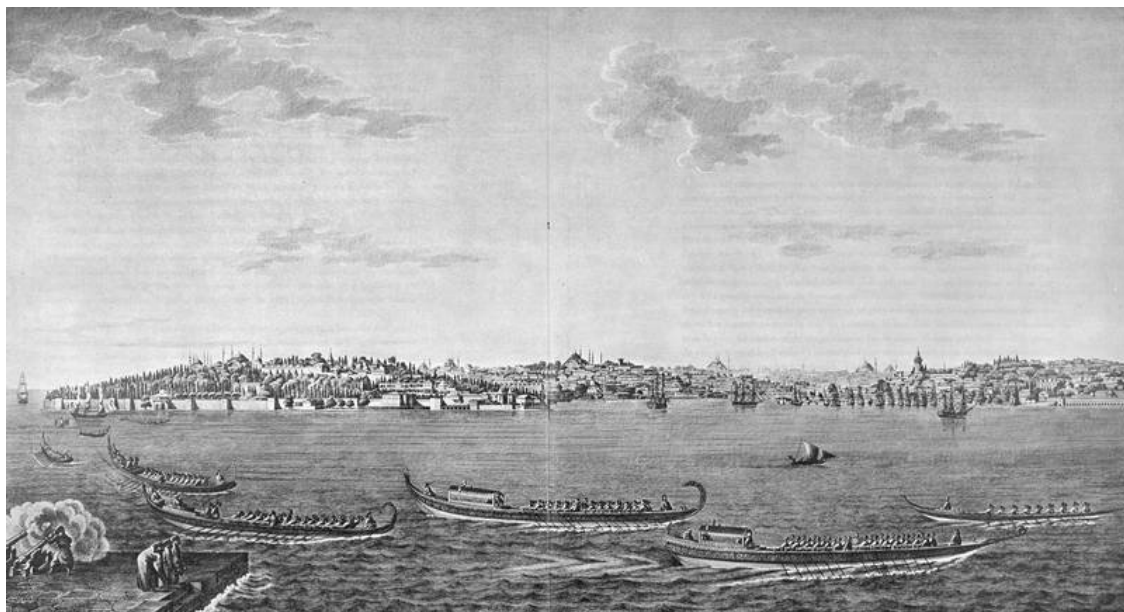
«Не такая уж плохая штука – жизнь, – думаю я иногда. – В конце концов, всегда можно прогуляться по Босфору».

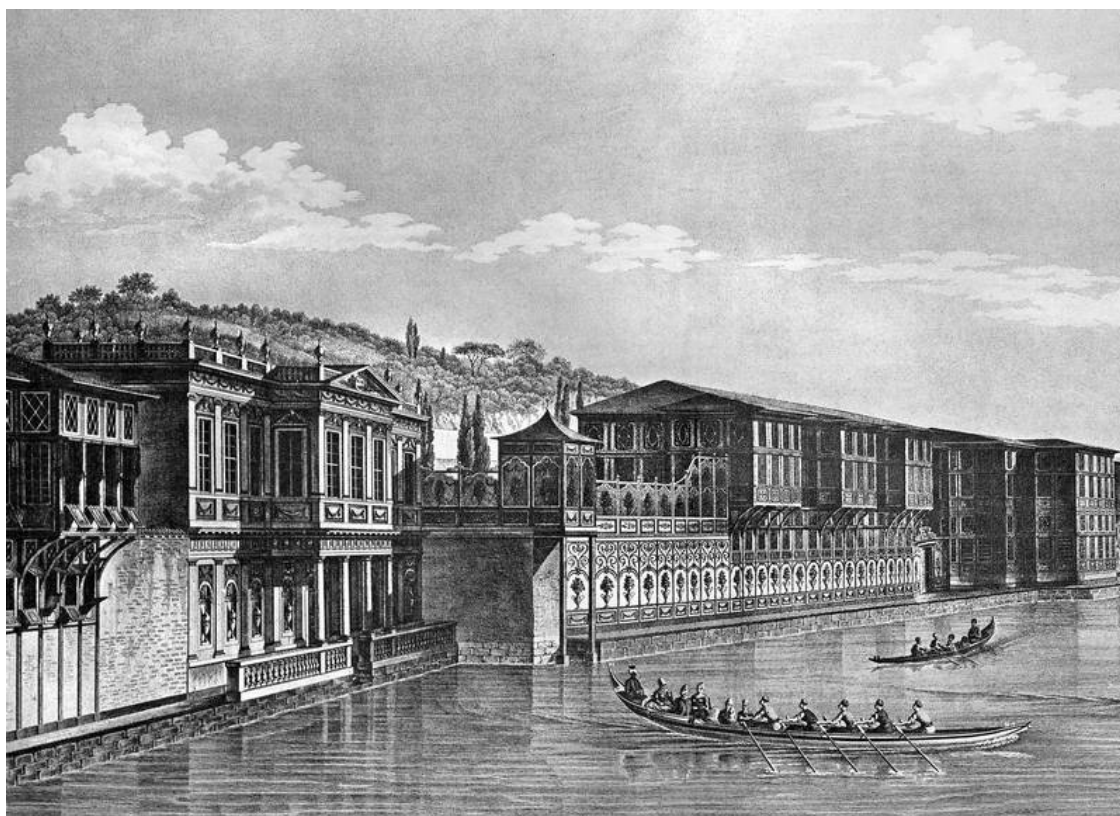
²⁹ *Дальян* – стационарная ловушка из сетей.

7

Меллинг рисует Босфор

Виды Босфора рисовали многие западные художники, но больше всего я люблю разглядывать картины Антуана-Игнаса Меллинга – самые, по-моему, убедительные. Книга с его гравюрами, само название которой – «*Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore*» («Живописное путешествие по Константинополю и берегам Босфора») – звучит для меня поэзией, была опубликована в 1819 году. В 1969 году ее репринтное издание в два раза меньшего формата выпустил мой родственник, поэт и издатель Шевкет Радо, который и подарил ее нам в те дни, когда во мне вовсю горел художнический пыл. Эти рисунки я могу рассматривать часами. Глядя на них, я верю, что именно так безупречно и выглядел Стамбул османских времен. Эту милую моему сердцу иллюзию рожают не столько нарисованные акварелью и гуашью картины, изобилующие мельчайшими подробностями, которые Меллинг вырисовывал с дотошностью архитектора или математика, сколько сделанные с этих картин под руководством самого художника черно-белые гравюры. По крайней мере, в те моменты, когда мне хочется убедить себя в том, что наше прошлое было величественным и великолепным (у человека, слишком открытого влиянию западной литературы и западного искусства, могут порой случаться такие приступы стамбульского патриотизма), мое утешение – гравюры Меллинга. Но к этому утешению примешивается и грусть от сознания того, что большинства этих прекрасных зданий уже нет. Впрочем, когда я слишком уж расстраиваюсь из-за этого, рассудок подсказывает мне, что именно чувство утраты делает эти рисунки такими красивыми. Может быть, я и смотрю на них, чтобы немного погрузиться.





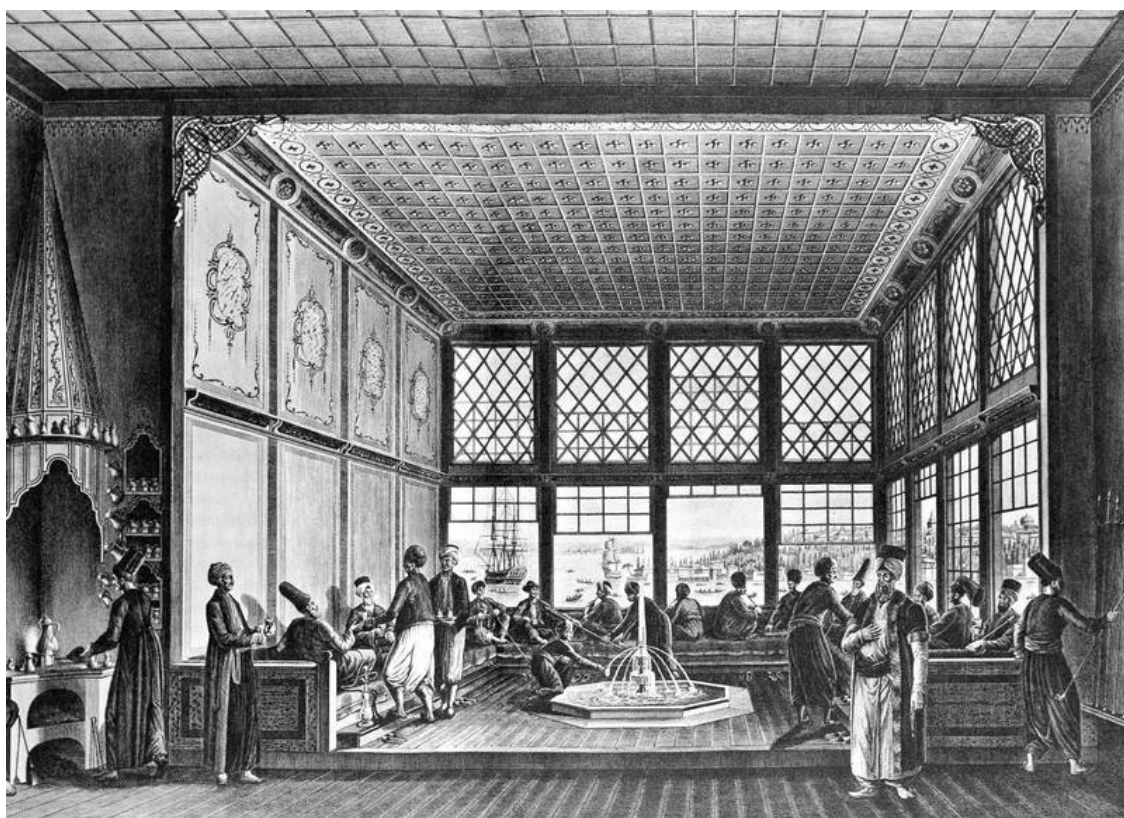
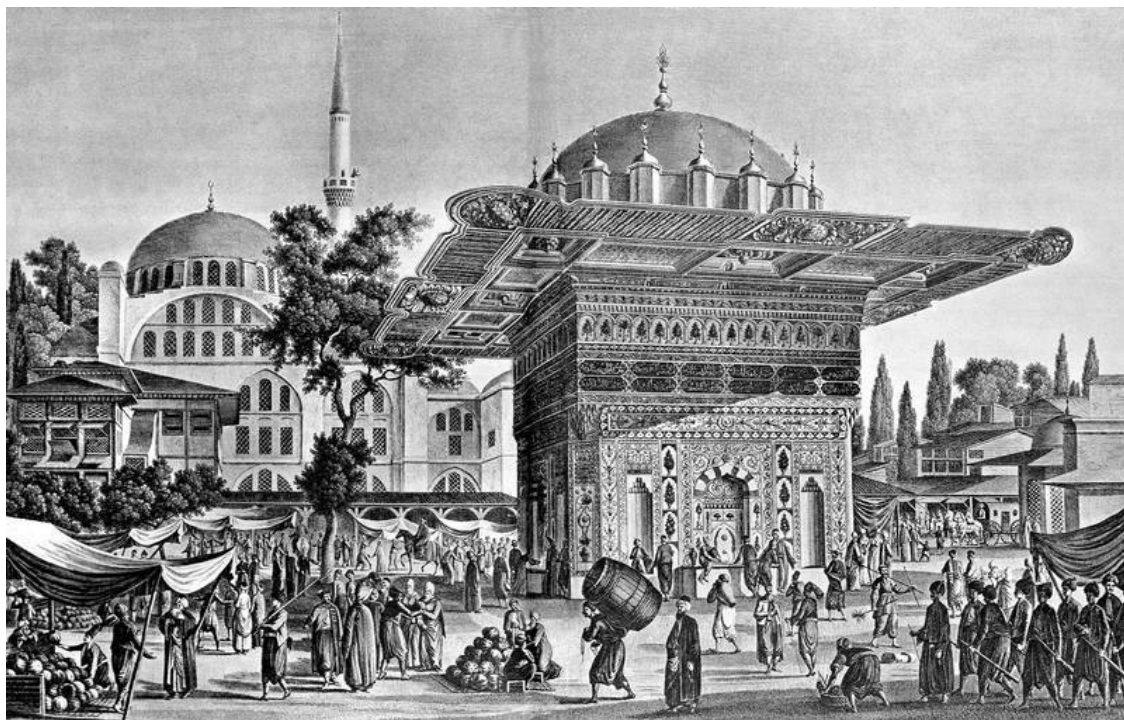
Меллинг, родившийся в 1763 году, был в полном смысле слова европейцем – немцем с итальянскими и французскими корнями. В Карлсруэ, где его отец был скульптором при дворе курфюрста Карла-Фридриха, он выучился ваянию, затем переехал в Страсбург, где под руководством своего дяди изучал живопись, зодчество и математику. В девятнадцать лет под влиянием начинавшего распространяться романтического интереса к Востоку он отправился в путешествие, которое, конечно же, привело его в Стамбул. В тот день, когда он сюда приехал, он, должно быть, и представить себе не мог, что останется в этом городе на долгие восемнадцать лет. Сначала он погрузился в жизнь быстро растущей космополитической колонии, существовавшей вокруг европейских посольств, на месте садов которых потом возникнет современный Бейоглу – там он давал частные уроки. Случилось так, что сестра султана Селима III Хатидже-султан, благосклонно, как и ее брат, относившаяся к новшествам в европейском духе, прогуливаясь в саду, окружавшем особняк бывшего датского посланника барона де Гюбша, высказала желание завести себе такой же сад, и ей порекомендовали молодого Меллинга. Сначала он разбил для сестры султана сад в европейском стиле, представлявший собой лабиринт из розовых кустов, акаций и сирени, потом построил маленький павильон с колоннами рядом с ее дворцом в Дефтердарбурну (между теперешними районами Ортакей и Куручешме). Романист Ахмет Хамди Танпынар (1901–1962) пишет, что этот павильон в неоклассическом европейском стиле, не сохранившийся до наших дней и известный нам по рисункам Меллинга, соответствовал духу Босфора и даже стал образцом для строившихся затем зданий в стиле, который Танпынар называет «смешанным». Для летнего дворца Селима III в Бешикташе Меллинг разработал интерьеры и спроектировал пристройки в том же неоклассическом, но соответствующем духу Босфора стиле. В то же время он продолжал состоять при Хатидже-султане в должности, которую мы сегодня назвали бы «советник по вопросам искусства» или «дизайнер интерьера». Ему приходилось в том числе и покупать цветочные горшки, и присматривать за тем, как расшивают жемчугом салфетки, и показывать по воскресеньям ялы женам послов, и устанавливать противомоскитные сетки.



Все эти подробности известны нам из хранящейся сейчас в одной частной коллекции переписки между Меллингом и Хатидже-султан. В ней используется одно опередившее свое время новшество: за сто тридцать лет до проведенной Ататюрком в 1928 году реформы алфавита эти двое стали писать друг другу по-турецки латинскими буквами. Благодаря этим письмам мы в какой-то степени можем узнать, как разговаривали сестры султана в те дни, когда в Стамбуле еще не было принято писать воспоминания и романы:

«Мастер Меллинг, когда будет готова сетка против комаров? Хочу, чтобы завтра, сделай милость... Пусть сейчас же приступят к делу, покажи, на что способен... Довольно странный эскиз ножа... Рисунок Стамбула отправлен, он не поблек... Стул такой не хочу, не нравится... Стулья пусть будут золоченые... Шелка пусть будет немного, а золотого шитья побольше... Посмотрела эскиз серебряной шкатулки, но такую не делай, оставь старый эскиз, не порти его... Деньги за жемчуг и золотые пластинки отдам во вторник...»

В то время, когда велась эта переписка, Хатидже-султан, выучившейся, видимо, не только латинице, но еще немного и итальянскому языку, еще не было тридцати. Ее муж, губернатор Эрзурума Сейид Ахмед-паша, в Стамбуле бывал редко. Во время Египетской кампании Наполеона, когда дворцовые круги были резко настроены против французов, Меллинг женился на уроженке Генуи и тут же, как явствует из написанных им в те дни Хатидже-султан жалобных писем, впал в немилость без всякого объяснения причин.



«Моя госпожа, – пишет Меллинг, – в субботу раб ваш послал слугу за жалованьем, а ему сказали, что жалованья больше не будет... Столько видел от госпожи моей добра, я не поверил, что это по ее приказу сделано... Сказали так, верно, из ревности, видя, как госпожа моя любит раба своего... Скоро зима, надо в Бейоглу переезжать, а как я перееду? Денег нет. Хозяин дома требует уплаты, нужно уголь покупать, вещи для кухни... Дочь моя заболела оспой, врач

требует пятьдесят курушей³⁰ – как тут быть? Сколько я умолял, сколько денег на дороге и лодках издержал, а благосклонного ответа все нет... Припадаю к стопам госпожи моей, ни акче³¹ у меня не осталось... Умоляю, не оставьте в беде раба своего...»

Так и не дождавшись от Хатидже-султан ответа на свои мольбы, Меллинг, во-первых, стал готовиться к возвращению в Европу, а во-вторых, принялся за работу, которая должна была впоследствии принести ему доход. Еще задолго до этого, пользуясь близостью к султану, он начал рисовать большие картины, в подробностях изображающие виды Стамбула. Теперь он вернулся к старой задумке создать на основе этих картин книгу гравюр и с помощью французского посланника, известного знатока Востока Пьера Руфена, начал переписку с парижскими издателями. Подготовка книги к изданию началась в 1802 году, по приезде Меллинга в Париж, а вышла она только спустя семнадцать лет, когда ему было уже пятьдесят шесть. Над книгой работали самые знаменитые гравёры того времени, и уже в начале этой работы художник получил признание как замечательный мастер достоверного воссоздания мельчайших подробностей.

Когда я сегодня смотрю на сорок восемь больших гравюр этой книги, первое, что трогает меня, – это твердая верность реалистическим деталям. Пристальным вниманием к архитектурным подробностям, очаровательной и искусной игрой перспективы Меллинг добивается ощущения подлинности, которого так жаждет человек, смотрящий на виды затерянного в прошлом мира, на красоты Босфора и Стамбула. Даже на самой «придуманной» из этих сорока восьми картин, изображающей внутренние покои султанского гарема, Меллинг так точно передает архитектурные пропорции, так искусно пользуется «готической» перспективой, а изображенные им степенные и изящные женщины так далеки от западных представлений о гаремной жизни и о том, как выглядят обитательницы гарема, что даже стамбулец, смотрящий на это изображение, не может избавиться от ощущения подлинности и истинности увиденного. Академичность и серьезность своих картин Меллинг уравнивает изображением таящихся в их углах деталей обычной человеческой жизни. Например, на первом этаже гарема сбоку мы видим двух нежно обнявшихся и целующихся женщин, однако Меллинг не привлекает специально к ним наше внимание, как это сделал бы любой другой западный художник, жадный до такого рода подробностей, и не драматизирует их отношения, не помещает пару в центр композиции.

³⁰ *Куруи* – мелкая денежная единица в Османской империи и в современной Турции.

³¹ *Акче* – основная денежная единица в Османской империи.



У видов Стамбула работы Меллинга центра композиции как будто вовсе нет. И наверное, это вторая (после серьезного отношения к деталям) причина, по которой его Стамбул так мне близок. На карте, помещенной в конце книги, Меллинг с точностью топографа указал, вид на какой именно участок города и с какой именно точки изображен на каждой из сорока восьми больших гравюр, но у меня при взгляде на них возникает ощущение, будто у этих видов нет ни центра, как у китайских свитков, ни конца, как у некоторых закольцованных синемаскопических фильмов. Ни на одной из гравюр в центре нет фигур людей в драматических позах, и поэтому, когда я переворачиваю страницы книги и вглядываюсь в черно-белые пейзажи, я словно возвращаюсь в детство: мне снова кажется, что у Стамбула нет центра, что он бесконечен, как казалось когда-то в детские годы во время прогулок по Босфору, когда я наблюдал, как за одной бухточкой появляется другая, а с каждым поворотом дороги, идущей вдоль берега, вид удивительным образом преобразается.

Босфорские пейзажи Меллинга не только дают мне волшебную возможность увидеть берега Босфора такими, какими я видел их в детстве, увидеть их лощины, склоны и холмы, которые в мои детские годы были голыми, а за прошедшие с тех пор сорок лет покрылись уродливыми многоэтажками (а я и забыл уже, что когда-то видел эти холмы незастроенными); углубляясь в прошлое, страница за страницей разглядывая красоты Босфора, я переживаю горькое, но радостное чувство – на этих прекрасных берегах творилась величественная история, и основание моей жизни покоится на памяти о том былом величии, на оставшихся от него пейзажах и исторических местах. С тем же горько-радостным чувством я подмечаю на этих рисунках некоторые детали, сохранившиеся до наших дней, – сделать это может только человек, очень хорошо знающий Босфор; и от этого у меня возникает впечатление, что образы эти, вынырнувшие из вневременного райского великолепия, становятся частью моей сегодняшней жизни. Да, говорю я сам себе, при выходе из бухты Тарабья спокойные воды вдруг возмущает дующий с Черного моря северо-восточный ветер, и торопливые, беспокойные волны, точь-в-точь как у Меллинга, покрываются сердитыми и нетерпеливыми барашками пены. Да, ранними вечерами рощи на вершинах холмов в Бебеке укрываются именно такой, в глубине их рожденной, темнотой, почувствовать эту особенность может только человек, который, как я или Меллинг, десятилетиями жил в этих местах. Да, босфорские сосны и кипарисы именно так, изящно и крепко, вписываются в стамбульский пейзаж.



Кипарисы – необходимый элемент традиционного исламского сада, неизменно присутствуют они и на рисунках, изображающих исламский рай. На картинах Меллинга, словно на персидских миниатюрах, темные пятна изящных и полных достоинства кипарисов служат для придания виду поэтической гармонии. Даже рисуя изогнутые босфорские сосны, Меллинг, в противоположность некоторым другим европейцам, рисовавшим Босфор, не стремится, вглядываясь в пространство между ветвями, создавать эффект драматического напряжения или ограниченности пространства. В этом он похож на художников, рисовавших миниатюры: они и на деревья, и на людей смотрят словно бы издалека, даже когда последние охвачены самыми сильными переживаниями. Меллинг не был большим мастером изображения движений человека и, видимо, поэтому совсем не придавал значения жестам персонажей своих картин. Иногда он довольно неуклюже изображает посадку лодок и кораблей в воде (особенно когда они движутся прямо на зрителя); несмотря на всю его тщательность, люди у него порой не совсем

пропорциональны зданиям, как это бывает на детских рисунках, – все это придает его картинам какую-то поэтичность и делает их более понятными для стамбульца. Черты женских лиц Меллинг с милым, вызывающим улыбку простодушием делает настолько похожими друг на друга, словно все эти женщины, населяющие на его картинах дворец Хатидже-султан и гарем, приходится друг другу сестрами.

Сила Меллинга – в том, как искусно он сочетает в своих картинах это простодушие, словно позаимствованное у лучших исламских миниатюристов или пришедшее из самых первых лет золотого века Стамбула, и такую точность архитектурных и топографических деталей, такую достоверность изображения повседневной жизни, каких не смог достичь ни один художник Востока. Если вы посмотрите на Девичью башню или на Ускюдар с тех точек, которые указал в своей карте Меллинг, вашим глазам откроется та же панорама, которую вы видите на его картинах; если пройти сорок шагов от здания в Джихангире, в котором находится мой кабинет, где сейчас я пишу эти строки, с холма Топхане можно увидеть точно такой же вид на дворец Топкапы, что проглядывает в окнах нарисованной Меллингом кофейни; и если мы посмотрим на нарисованный Меллингом вид на Стамбул с холма Эюп, то узнаем его, – и все эти пейзажи, столь знакомые нам, в то же самое время – пейзажи потерянного рая. Этот рай появился, когда вельможи Османской империи поняли, что берега Босфора не просто место для греческих рыбацких деревушек, что здесь можно и нужно жить; тогда же в османскую архитектуру впервые проникло западное влияние. Именно картины Меллинга – причина того, что времена, предшествовавшие правлению Селима III, кажутся мне такими далекими.

Следуя примеру Маргерит Юрсенар³², с помощью увеличительного стекла изучавшей гравюры Пиранези³³, за тридцать лет до Меллинга начавшего рисовать Рим и Венецию, я, вооружившись тем же инструментом, рассматриваю нарисованные Меллингом виды Стамбула. Мне очень нравится наблюдать за живущими на этих гравюрах горожанами. Например, за продавцом арбузов, который примостился в левом углу картины, изображающей Топханейский источник (Меллинг очень долго работал над тем, чтобы изобразить этот источник во всех мельчайших подробностях) и площадь вокруг него; за двести лет арбузные развалы и поведение продавцов, зазывающих покупателей, ничуть не изменились. А вот еще один продавец арбузов – внизу, посередине. Посмотрите, как он сидит на стуле. Топханейский источник, выделявшийся среди других стамбульских построек особенным изяществом (поэтому Меллинг и уделил ему столько внимания), в то время, как видим, стоял на возвышении; сегодня же он, в результате того, что площадь вокруг него сначала замостили брусчаткой, а потом покрыли несколькими слоями асфальта, находится в углублении. Наш художник любил в каждом уголке города, в каждом его саду подмечать детей, держащих за руку своих мам (как засвидетельствовал пятьдесят лет спустя Теофиль Готье³⁴, женщины часто брали с собой своих детей, потому что женщины с детьми вызвали больше уважения, чем женщины, разгуливающие в одиночку, и им меньше докучали). В каждом уголке города, точь-в-точь как сегодня, можно заметить уныло выглядящих уличных торговцев, продающих самые различные товары, одежду и еду. А вот юноша, стоящий на пристани рядом с ялы в Бешикташе, закинул удочку в безмятежное море (я так люблю Меллинга, что у меня язык не поворачивается сказать, что в Бешикташе у берега никогда не может быть такой спокойной воды). В нескольких шагах от юноши два загадочных человека склонились друг к другу (я поместил их на обложку одного из турецких изданий «Белой крепости»). Вот на холме Кандилли владелец дрессированного медведя заставляет своего питомца плясать, рядом стучит в бубен его помощник; по площади Султан-Ахмет (для Меллинга это Ипподром), в стороне от толпы, занимающей ее центр, медленно, с типично

³² *Маргерит Юрсенар* (1903–1987) – французская писательница.

³³ *Джованни Баттиста Пиранези* (1720–1778) – итальянский гравер и архитектор.

³⁴ *Теофиль Готье* (1811–1872) – французский писатель и литературный критик.

стамбульским безучастным видом бредет человек, ведущий навьюченную лошадь; в другом углу той же картины повернулся к толпе спиной продавец бубликов, а бублики его лежат на точно таком же треножнике, какими продавцы бубликов пользовались в годы моего детства... Мне очень нравится спустя какое-то время снова рассматривать всех этих людей и снова подмечать забытые маленькие подробности.

В противоположность людям на картинах Пиранези стамбульцев Меллинга, на фоне каких бы величественных зданий или пейзажей они ни стояли, не подавляет ни архитектура, ни природа. Меллинг, как и Пиранези, любит перспективу, но в его картинах нет драматизма (даже в той, что изображает дерущихся на берегу в Топхане лодочников). На людей Пиранези давит всесильная вертикальная архитектура, низводя их до степени уродливых нищих и калек, одетых в гротескные одежды. В картинах же Меллинга ничто не приковывает к себе взгляда; куда бы ни смотрел зритель, всюду перед ним в горизонтальной плоскости разворачивается жизнь удивительного и счастливого мира. Дело здесь не столько в мастерстве и искусности самого Меллинга, сколько в тех возможностях, которые открывались ему благодаря особенностям топографии и архитектуры Стамбула. Чтобы прочувствовать эти особенности, ему нужно было прожить в Стамбуле восемнадцать лет.

На тот момент, когда Меллинг уезжал из Стамбула, в этом городе прошла половина его жизни. И эти восемнадцать лет были не годами учебы, а временем, когда складывались его главные жизненные убеждения, когда ему приходилось вести борьбу за существование, временем упорной работы и появления его первых картин. Поэтому взгляд художника мог уловить в Стамбуле самое главное и увидеть город таким, каким его видели те, кто в нем жил. Меллинга совсем не интересовала колдовская атмосфера экзотики, которую искали в Стамбуле через тридцать-сорок лет после него такие замечательные художники и граверы, как Уильям Генри Бартлетт («Красоты Босфора», 1835), Томас Аллом («Константинополь и виды семи церквей Малой Азии», 1839) и Эжен Фланден («Восток», 1853). Оставляют его равнодушным и вышедшие из сказок «Тысячи и одной ночи» и вскоре превратившиеся в стереотипы образы в духе столь распространенного в те годы, особенно во Франции, восточного романтизма; поэтому он не увлекается игрой света и тени, столь подходящей для создания романтической атмосферы, не рисует эффектные облака и дымку и не стремится изображать город и его обитателей более округлыми, пышными, причудливыми или мрачными, чем они были на самом деле.

Меллинг смотрит на город изнутри. Но сами стамбульцы в те времена не умели рисовать себя и свой город, да им и в голову не приходила такая мысль, – поэтому западное искусство рисунка придает этим беспристрастным картинам оттенок отчужденности. Меллинг видит город глазами его жителя, но рисует его как беспристрастный пришелец с Запада – вот почему его Стамбул одновременно и знакомый нам город, с видами и зданиями которого нас связывают воспоминания, и ни на что не похожий, единственный в своем роде и потому удивительный и чудесный мир.

Каждый раз, когда я смотрю на эти гравюры, сознание того, что мир этот навсегда потерян, наполняет мою душу привычной грустью. Но, как показывает едва ли не единственное достоверное свидетельство об этом оставшемся в прошлом мире, мой Стамбул не был экзотическим, «колдовским» или причудливым городом, разве что удивительным и чудесным, а Босфор тех лет во многом походил на Босфор моего детства. Мысль об этом утешает меня всякий раз, когда я открываю Меллинга.

8

Мама, папа и их исчезновения

Иногда папа куда-то уезжал, и мы долгое время его не видели. Станным образом его отсутствие не ощущалось нами в первые дни. Потом, наконец с огорчением заметив, что папы нет, мы понимали, что давно уже к этому привыкли, как бывает, когда вдругхватишься давно потерянного или украденного велосипеда или вспомнишь о переставшем ходить в школу однокласснике. Почему отец уехал и когда он вернется, нам не говорили. Мы с братом чувствовали, что вопросов об этом задавать не нужно, – в доме эту тему не обсуждали, и мы с легкостью следовали примеру взрослых. Пережить отсутствие отца, не забывая о нем, но и не задавая вопросов, нам помогало то, что мы все – дядя и тетя со своими семьями, бабушка, повара, прислуга – жили вместе. Иногда, когда служанка Эсма-ханым чересчур нежно нас обнимала, или бабушкин повар Бекир видел в наших словах какое-то скрытое значение, или дядя Айдын с чрезмерным энтузиазмом вывозил нас воскресным утром покататься по Босфору на «Додже-52», мы вспоминали забытую печаль.

Бывало, мама с утра садилась к телефону и начинала подолгу разговаривать со своими сестрами, подругами и другой нашей бабушкой – тогда я чувствовал, что дела обстоят совсем плохо. Мама разговаривала по телефону, сидя на стуле и закинув ногу на ногу, а я смотрел на очень занимавшие меня разнообразные складки ее кремово-красного халата, разрисованного гвоздиками, сквозь пуговицы которого проглядывали красивая ночная рубашка и красивая мамина шея, и мне хотелось залезть к ней на колени, прижаться к ее волосам, шее, груди. Несколько лет спустя, после ожесточенной перепалки с отцом, случившейся за обедом, мама гневно бросила мне в лицо, что я получаю удовольствие от той атмосферы бедствия, в которую погружали весь дом их ссоры.

Ожидая, пока мама обратит на меня внимание, я сидел за ее туалетным столиком, заставленным пудреницами, румянами, флакончиками с духами и лаком для ногтей, пузырьками с одеколоном, розовой водой и миндальным маслом, с интересом рылся в шкатулках, играл со всевозможными щипчиками, ножницами, пилочками для ногтей, щеточками в форме ручек, карандашами для бровей, расческами и всякими разными острыми инструментами, разглядывал мои и брата младенческие фотографии, лежащие под стеклом. На одной из фотографий я сидел на детском стульчике, а мама подносила к моему рту ложку, и при этом на наших лицах были такие радостные улыбки, какие можно увидеть только в рекламе детского питания. Я смотрел на фотографии и раздумывал: как жаль, что они не могут передать моих радостных воплей.



Потом, чтобы спастись от медленно наползающей на меня скуки и грусти, я начинал играть в одну игру, не подозревая о том, что много позже буду делать нечто подобное в своих романах. Я сдвигал на середину столика два флакона, стоявшие рядом с зеркалом, щетки для волос и запертую, никогда не открывавшуюся, расписанную цветами коробочку, приближал

голову к середине трюмо и, разом раскрыв обе его створки так, что моя голова оказывалась между ними, смотрел на движения тысячи Орханов в глубокой и холодной стеклянной бесконечности. Глядя на самые близкие и самые большие отражения, я с удивлением рассматривал свой затылок, который, оказывается, формой походил на острый конец яйца, и уши, одно из которых, совсем как у папы, было странным образом больше другого. Всего интереснее было смотреть на затылок: его вид вселял в меня жутковатую мысль (до сих пор жутковатую) о том, что всю жизнь я таскаю с собой какого-то чужака – мое тело. В трех зеркалах отражался не только мой профиль; мне очень нравилось самодовольно смотреть, как все эти десятки и сотни Орханов, отраженные каждый немножко по-разному и поэтому отличающиеся друг от друга, все, от больших до самых маленьких, рабски повторяют любое движение моей руки. Я заставлял их совершать самые разнообразные движения, пока не убеждался, что все они – беспрекословно подчиняющиеся мне рабы. Иногда я пытался разглядеть в зеленоватой бесконечности самого далекого Орхана; иногда мне казалось, будто я замечаю, что отражения руки или головы движутся не одновременно со мной, а на долю секунды позже. И совсем жутко мне становилось, если я слишком увлекался, надувая щеки, хмуря брови, высовывая язык и строя разнообразные рожи или же разглядывая восьмерку Орханов, притаившуюся в одном из углов зеркала, и забывал про свои руки и пальцы, а те вдруг сами по себе совершали какое-нибудь простое движение. Заметив, как десяток-другой плавающих в зеленоватых глубинах зеркального моря Орханов вдруг повторяют мой неосознанный жест, я на какой-то миг воображал, что они стоворилась между собой двигаться отныне сами по себе. Сначала меня пробирал озноб, а затем, когда не понимающая шуток часть моего рассудка соглашалась с тем, что это мне только показалось, я продолжал игру, чтобы снова испытать тот же ужас. Потом я немного двигал створки, чуть-чуть изменяя их угол, и построение зеркальных Орханов становилось совсем другим. На какое-то мгновение я терял из виду первое и самое близкое отражение, словно смотрел в видоискатель фотоаппарата, который вдруг потерял фокус, и мне нравилось находить его на новом месте, а заодно и ощущать на прежнем месте себя, как будто я тоже мог куда-то потеряться.

Во время всей этой игры в исчезновение (я мог предаваться ей часами) часть моего сознания оставалась начеку: не промелькнет ли в мамином разговоре информация о том, куда делся папа, когда он может вернуться, и не может ли получиться так, что мама однажды тоже пропадет.

Мама ведь тоже иногда исчезала. Однако, когда исчезала она, нам всегда давали какое-нибудь объяснение. Например, говорили: «Мама заболела, отдыхает у тети Нериман». Помню, что я находил эти объяснения разумными, так же как, пусть на какое-то мгновение, по доброй воле верил в истинность зеркальных иллюзий. В сопровождении бабушкиного повара или швейцара Исмаила-эфенди мы на пароходе или автобусе отправлялись навестить маму на другой конец города, например в Эренкёй или Истинье, где жили наши родственники. В памяти у меня сохранилась не столько печаль этих путешествий, сколько ощущение приключения. Рядом был старший брат, и я подсознательно был уверен в том, что в случае опасности первым с ней будет иметь дело именно он. Когда мы добирались до нужного дома, нас встречали родственники с материнской стороны – пожилые добрые тетуски и немного пугавшие меня волосатостью своих рук дядюшки. Первым делом приласкав нас, они показывали нам все, что могло бы нас заинтересовать в их доме: заливающуюся колокольчиком канарейку, немецкий барометр, который, я думаю, был у каждой европеизированной стамбульской семьи (он представлял собой фигурки наряженных в баварские крестьянские костюмы мужчины и женщины, в зависимости от погоды выходившие из своего домика или скрывавшиеся в нем), и часы с кукушкой, которая своей решительностью и пунктуальностью каждые полчаса повергала в растерянность канарейку, пытавшуюся по мере сил дать достойный ответ; и, наконец, нас вели в мамину комнату.



Красота виднеющегося за распахнутым окном моря, света и простора повергала меня в изумление (может быть, поэтому я так люблю картины Матисса с южными пейзажами за окном); потом я расстраивался и пугался оттого, что встретил маму в таком красивом и чужом месте, но успокаивался, почувствовав наполняющий комнату ни с чем не сравнимый мамин запах, исходящий от ее вещей, лежащих на треножниках, – щипчиков, флакончиков с духами, щетки для волос с облупившейся полировкой. Очень хорошо помню, как мама по очереди брала нас с братом на руки и нежно ласкала. Брату она давала множество наставлений (она всегда очень любила давать наставления) о том, что ему нужно сделать, что сказать, куда пойти, как себя вести, какую вещь принести ей в следующий раз и из какого шкафа ее достать. Я, не прислушиваясь к этим разговорам, смотрел в окно; когда же доходила очередь до меня, мама начинала со мной шутить и пересмеиваться.

Во время одного маминого исчезновения папа привел в дом няню – чрезмерно белокожую, низкорослую, округлую женщину, которую никак нельзя было назвать красивой. Она постоянно улыбалась и с умным видом, который ей самой, видимо, очень нравился, говорила, что и мы должны делать то же самое – постоянно улыбаться. Мы с братом никак не могли к ней привыкнуть; кроме всего прочего, мы были разочарованы тем, что она не была иностранкой, как няни, виденные нами в некоторых других семьях. Те няни были в основном немками, проникнутыми протестантским духом; наша сравнения с ними не выдерживала и потому не пользовалась у нас авторитетом. Когда мы с братом затевали потасовку, она начинала причитать: «Ребятки, тихо, ну пожалуйста!» Мы порой в папином присутствии передразнивали ее, и папа, глядя на это, смеялся. Вскоре няня тоже исчезла. Позже, когда во время папиных исчезновений нам с братом случалось сцепиться в смертельной схватке, мама, потеряв всякое терпение, в отчаянии восклицала: «Я сейчас возьму и уйду!» или «Выброшусь сейчас из окна!» (однажды она даже перекинула свою красивую ногу через подоконник). Когда же она добавляла: «И тогда ваш папа женится на той женщине», в качестве претендентки на звание новой мамы мне пред-

ставлялась не одна из тех женщин, о которых, вообще-то, никогда не говорили, но чьи имена порой, в минуту гнева, срывались с маминых уст, а та бледная, пухлая, добродушная и растерянная няня.

Мы все жили в одном доме, в одних и тех же комнатах, на одной улице, мы (позже я понял, что это относится ко всем настоящим семьям), за небольшими исключениями, все говорили на одни и те же темы и ели одни и те же блюда (а это источник семейного счастья, его залог и причина его смерти); но, несмотря на это, непонятные исчезновения родителей меня не очень расстраивали. Они, как и мамино зеркало, спасали меня от скуки повседневной жизни и переносили в другой мир, словно веселые и загадочные отравленные цветы. И я не лил слез из-за этих исчезновений, из-за семейных бед и ссор, которые многое говорили темной стороне моего сознания, занимали меня и заставляли острее ощущать свое бытие и свое одиночество, о котором хотелось забыть.

Ссоры, как правило, начинались за столом. Потом более подходящим для этого местом стал купленный папой «опель-рекорд» 1959 года выпуска – ведь выйти из мчащейся машины не так просто, как в гнев вскочить из-за стола. Порой, когда во время задолго планировавшейся поездки или обычной воскресной прогулки по Босфору между папой и мамой начиналась перепалка, мы с братом заключали пари: доедет папа до ближайшего моста или у первой же бензоколонки, вдавив тормоза и резко развернувшись, словно капитан, в гнев возвращающийся к пристани и сгружающий на нее только что погруженный товар, отвезет нас назад домой, а сам умчится на машине неведомо куда.

В те годы, когда ссоры между родителями только начинались, одна из них произвела на нас значительно более сильное впечатление – в ней было нечто поэтическое и возвышенное. Дело было в нашем летнем доме на Хейбелиаде. Во время ужина папа и мама одновременно выскочили из-за стола (мне нравились такие моменты, потому что, если за столом не было взрослых, я, как того хочется любому ребенку, мог есть не так, как требовала мама, а так, как хотелось мне самому) и убежали на второй этаж. Некоторое время мы с братом сидели за столом и молча прислушивались к крикам, доносящимся сверху, а потом, повинувшись некоему внутреннему голосу, побежали туда, наверх. (Повинуясь тому же внутреннему голосу, я открыл эти скобки и понял, что означает это только одно: я совсем не хочу вспоминать обо всех этих историях.) Обнаружив, что мы наблюдаем за ссорой, грозящей перерасти в потасовку, мама разом выставила нас в другую комнату и закрыла дверь. Там было темно, но сквозь матовые, с орнаментом в стиле ар-нуво дверные стекла из другой, ярко освещенной комнаты в нашу проникал ровный свет. Мы с братом, застыв на месте, прислушивались к крикам и восклицаниям и смотрели на движущиеся по матовому стеклу тени, которые приближались друг к другу, соприкасались, расходились и снова сближались. От напряжения этой волнующей игры теней стекло порой дрожало, словно занавес во время представлений «Карагёза»³⁵, и все было черно-белым.

³⁵ «Карагёз» – традиционный турецкий театр теней.

9

Другой дом: Джихангир

Иногда папа и мама исчезали одновременно – так случилось, например, зимой 1957 года. Брата тогда отправили жить двумя этажами выше, к тете и ее мужу, а за мной однажды вечером приехала другая тетя и увезла меня к себе в Джихангир. Ей очень не хотелось, чтобы я расстраивался из-за переезда, и поэтому она была со мной очень мила. Как только мы сели в ее «шевроле», она сказала, что попросила шофера Четина купить мне йогурт. Хорошо помню, что йогурт меня не очень заинтересовал, а вот тот факт, что у тети есть шофер, – очень. Когда мы добрались до ее дома, построенного моим дедушкой (позже я буду жить в одной из его квартир), я был очень разочарован тем, что в доме нет лифта и батарей отопления, а квартиры маленькие. Я пытался привыкнуть к новой жизни и побороть печаль, но следующий день принес еще одно огорчение: проснувшись после обеда и лежа в постели в пижаме, я стал звать служанку, как делал это дома, чтобы она подняла меня и одела. Я был избалованным ребенком и, конечно, совсем не ожидал получить в ответ довольно строгий выговор.

Может быть, поэтому все оставшиеся дни я напускал на себя важный вид и вообще держался немного высокомерно. Однажды, когда мы с тетей, ее мужем Шевкетом Радо, журналистом, поэтом и издателем (это он опубликовал факсимильное издание книги Меллинга), и их одиннадцатилетним сыном Мехметом (старше меня на семь лет) сидели и ужинали, а со стены на нас смотрел портрет моего симпатичного двойника в кепке, я как бы между делом сообщил, что премьер-министр Аднан Мендерес – мой дядя. Мое заявление не было встречено с подобающим уважением, на которое я рассчитывал; напротив, родственники стали хихикать и задавать мне насмешливые вопросы, что я воспринял как полную несправедливость – я ведь искренне верил, что мой дядя – премьер-министр.



Эта уверенность, впрочем, жила только в одном уголке моего сознания. Объяснялось это искреннее заблуждение вот чем: у моего дяди Озхана имя было из пяти букв, как и у премьер-министра, и заканчивалось тоже на «ан»; премьер только что улетел с визитом в Америку, где мой дядя жил долгие годы; фотографии и того и другого я видел по несколько раз каждый день (премьер-министра – в газетах, а дядины – в самых разных местах бабушкиной гостиной), и на некоторых фотографиях они были очень похожи. Повзрослев, я заметил (но это мне не очень помогло), что многие мои мнения, суждения, убеждения и предубеждения образуются по схожему принципу. Так, например, я честно верю, что у людей с одинаковыми и даже похожими именами и характер должен быть схож; что у незнакомых мне турецких и иностранных слов значения схожи со значением тех слов, на которые они похожи по звучанию; что женщина с ямочками на щеках должна быть так же мила, как другая женщина с ямочками на щеках, с которой я познакомился раньше; что все толстые люди похожи друг на друга; что бедняки образуют некое тайное общество, о котором мне ничего не известно; что между Бразилией и горохом есть некая связь (не только потому, что Бразилия по-турецки – *Brezilya*, а горох – *bezelye*, но и потому, что посередине бразильского флага изображено нечто вроде громадной горошины). Точно так же некоторые американцы искренне убеждены в существовании некой связи между индейкой и Турцией³⁶. Связь между премьер-министром и дядей, однажды

³⁶ В английском языке слова «индейка» (turkey) и «Турция» (Turkey) пишутся и произносятся одинаково.

возникнув в моем сознании, так никуда и не исчезла; точно так же, раз повстречав в одном ресторане дальнего родственника, подкрепляющегося яйцами со шпинатом (одной из замечательных особенностей Стамбула времен моего детства было то, что на улицах и в лавочках мне постоянно встречались родственники и знакомые), я и сейчас, полвека спустя, где-то в глубине души уверен, что он до сих пор сидит в том ресторане (давно закрывшемся) и продолжает есть яйца со шпинатом.



Итак, из-за одного из тех заблуждений, что так украшали и облегчали мою жизнь, меня не принимали всерьез в этом чужом доме, и это подвигло меня на более смелые эксперименты. Каждое утро, когда мой кузен уходил в Немецкий лицей, я доставал одну из его огромных, толстых, красивых книг (думаю, это было издание Брокгауза) и, положив ее перед собой на стол, начинал переписывать строчку за строчкой. Поскольку я не только не знал немецкого, но и вообще не умел читать и писать, это занятие было похоже не столько на списывание, сколько на тщательное срисовывание – предложение за предложением, страница за страницей. Закончив вырисовывать какое-нибудь слово, в котором встречались очень трудные для меня готические буквы *g* и *k*, я поступал как художник времен Сефевидов³⁷, рисуящий тысячи листочков на чинаре: отрывал взгляд от бумаги и, давая глазам отдохнуть, устремлял его в окно, за которым виднелись холмы, спускающиеся к морю извилистые улочки, пустые участки, отведенные под строительство, и многоэтажные дома, а между ними – Босфор и плывущие по нему корабли.

В Джихангире, куда позже, обеднев, переедем и мы, я впервые узнал, что такое стамбульский квартал, и понял, что мой город – не хаотичное скопление квартир, жители которых, отгородившиеся друг от друга стенами, незнакомы и не знают, у кого кто умер и где что празднуют, а архипелаг кварталов, где все друг друга так или иначе знают. Глядя в окно, я видел в просветах между домами не только море и пароходы городских линий, постепенно становящиеся мне знакомыми, но и сады, еще не развалившиеся старые особняки, старинные стены

³⁷ Сефевиды – династия иранских шахов (1502–1736).

и играющих рядом с ними ребяташек. Мимо нашего дома, как и мимо многих других домов, смотрящих на Босфор, проходила мощенная брусчаткой небольшая аллея. Прихотливо извиваясь, она спускалась к самому морю; снежными вечерами мы с тетей и кузеном, стоя у окна, смотрели, как детвора со всего квартала (душой я был с ними) шумно и весело каталась по обледеневшей брусчатке на санках, переносных лестницах и досках.



Центр турецкой киноиндустрии, которая в те годы выпускала почти по семь сотен фильмов в год и считалась по этому показателю второй в мире после индийской, находился в Бейоглу, на улице Ешильчам, в десяти минутах ходьбы от тетиного дома. Многие актеры жили в Джихангире, и поэтому на улице часто можно было встретить играющих всю жизнь одни и

те же роли второго плана дядюшек и бледных, сильно накрашенных тетюшек. Дети, завидев этих усталых актеров, известных им только по их ролям (например, пожилого толстого Вахи Оза, который играл исключительно старых волокит, ухлестывающих за молоденькими служанками), принимались бежать за ними следом. На вершине крутого холма, куда вела аллея и где в дождь скользили колеса легковых автомобилей и грузовиков, солнечным днем мог внезапно появиться микроавтобус; из него вылезали актеры, осветители и прочие члены съемочной группы. Сняв минут за десять любовную сцену, они тут же испарялись. Много лет спустя, когда мне случалось увидеть один из этих фильмов по телевизору, я понимал, что Босфор на заднем плане – такой же полноправный участник этих сцен, как изображающие любовь или ссору актеры.



Глядя из окна на Босфор, виднеющийся между домами, я понял еще вот что: в каждом квартале должен быть некий центр (как правило, это лавка), куда стекаются все сплетни и слухи, которые там обсуждаются и оцениваются, после чего вновь разлетаются по кварталу. В Джихангире таким центром была бакалейная лавочка, располагавшаяся на первом этаже нашего дома, чей хозяин, Лигор, как и большинство его соседей по дому, был греком. Чтобы купить у него что-нибудь, нужно было спустить со своего этажа корзину на веревке, а потом прокричать вниз, что тебе нужно. Позже, когда наша семья переехала в этот дом, мама сочла для себя неудобным орать что есть мочи каждый раз, когда ей нужно купить хлеба или яиц, и придумала класть в корзину (значительно более элегантную, чем у соседей) записку с перечнем требуемых продуктов. Мой кузен, известный озорник, открывал окно для того, чтобы плюнуть на крышу какой-нибудь машины, тяжело взбирающейся на вершину холма, или бросить в нее гвоздь, а то и самодельную хлопушку. Даже сейчас, глядя на улицу из высокого окна, я невольно раздумываю: а не плюнуть ли на кого-нибудь из проходящих внизу людей?

Шевкет Радо, тетин муж, в юности пытался стать поэтом, а потом занялся журналистикой и издательским делом. Он выпускал самый в то время популярный еженедельный журнал Турции – «Хайат» («Жизнь»), но в пятилетнем возрасте меня это совершенно не интересовало, равно как и то, что он был знаком, дружил или сотрудничал со многими поэтами и писателями, чье творчество впоследствии оказало влияние на формирование моего видения

Стамбула. Среди них, например, были Яхья Кемаль, Хамди Танпынар и Кемалеттин Тугджу, писавший мелодраматические (в диккенсовском духе) рассказы для детей о жизни бедных кварталов. Меня занимало лишь то, что дядя издавал сотни детских книг (например, сокращенное издание «Тысячи и одной ночи», сказки Андерсена, «Энциклопедию открытий и изобретений», сборники из серии «Братец Доган»). Тетя стала дарить нам эти книги, когда мы научились читать, и многие из них я заучил едва ли не наизусть.

Раз в неделю тетя отвозила меня в Нишанташи, чтобы я повидался с братом. Брат взахлеб рассказывал мне о том, как замечательно ему живется в нашем доме, как он ест на завтрак анчоусы и как весело они играют по вечерам, обо всех семейных радостях, которых мне так не хватало: игре в футбол с одним дядей, воскресных поездках по Босфору с другим, неизменном совместном прослушивании «Спортивного часа» и радиопостановок. В конце концов он говорил мне: «Не уезжай, оставайся с нами!»

Мне было очень тяжело покидать брата и уезжать из нашей квартиры. Вид ее закрытой двери наводил на меня тоску. Помню, однажды я, рыдая, изо всех сил вцепился в батарею рядом с дверью; родственники, собравшись вокруг, пытались сначала лаской, а потом и силой заставить меня разжать пальцы, но я, хотя мне и было очень стыдно, продолжал держаться за батарею, словно герой комикса, падающий в пропасть и в последний момент хватающийся за ветку.

Можно ли это объяснить привязанностью к дому? Наверное, ведь я и сейчас, пятьдесят лет спустя, живу в нем. Для меня, впрочем, имеет значение не красота комнат или находящихся в них вещей, а то, что дом – это центр моего внутреннего мира. Но причиной моей печали было и то, что я, пусть по-детски, не вполне понимая суть дела, переживал из-за ссор родителей и из-за того, что денег в семье оставалось все меньше, а имущественные споры между родственниками разгорались все сильнее. Вместо того чтобы трезво и здраво взглянуть на свои беды, попытаться с ними справиться или хотя бы честно о них поговорить, я забавлял себя игрой мысли, меняя фокус сознания, обманываясь или вовсе забывая о том, что меня тревожит, пока тревога не сменялась другим таинственным чувством.

Это чувство в моем внутреннем мире смешивалось с чувством вины; получающуюся в результате смесь я называю печалью. Печаль застилает наши глаза и скрывает реальность, облегчая нам жизнь; ее можно сравнить с паром, который оседает на окне, если в комнате кипит чайник, – это сравнение я выбрал еще и потому, что вид запотевшего окна неизменно вызывает у меня печаль. Мне нравится сидеть и смотреть на такое окно, а потом, подойдя к нему, рисовать что-нибудь пальцем на стекле; говоря о печали, я испытываю похожее чувство. Я рисую пальцем на стекле, и моя печаль растворяется и исчезает, а сквозь прочерченные линии становится видно, что происходит там, за окном... Но вид из окна рано или поздно тоже рождает печаль. Настало время разобраться в сути этого чувства, объединившего общей судьбой всех стамбульцев.

10

Печаль

«Хюзюн» (*hüzün*), турецкое слово, означающее «печаль», происходит из арабского языка. В Коране оно употребляется в значении, близком к современному турецкому – в двух айатах как *huzn* и еще в трех – как *hazen*. Пророк Мухаммед называет год, в который умерли его жена Хатидже и дядя Эбу Талиб, годом печали, «сент-уль-хюзн», и это подтверждает, что слово обозначало душевную боль, вызванную тяжелой утратой. Согласно тому, что мне довелось прочитывать по этой теме, в последующие века значение этого слова в исламской философии развивалось, пока не возникло два довольно отличных друг от друга взгляда на то, что такое печаль.

Согласно одному из них, печаль – следствие чрезмерной привязанности к материальному миру и его удовольствиям. Иными словами, «если бы ты не был настолько привязан к этому бренному миру, то есть был бы истинным, хорошим мусульманином, тебя не заботили бы так потери, которые в этом мире неизбежны». Другая философская традиция, основанная на суфийском мистицизме, более положительно и сочувственно относится к чувству потери и боли, иначе понимает занимаемое им в жизни людей место; соответственно, суфии вкладывают иное значение и в слово «печаль». Согласно их точке зрения, печаль – это чувство неудовлетворенности, проистекающее от невозможности достичь желаемой близости к Аллаху, оттого, что мы в этом мире не можем достаточно сделать для него. Подлинный суфий не переживает из-за таких мирских бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его; нет, чувство неудовлетворенности и нехватки чего-то важного он испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали – не благо, а недостаток. Мы печальны, потому что не печалимся, мы страдаем, ибо страдаем недостаточно, – из таких умозаключений, доведенных до логического конца, проистекает неизменное почтение, которым пользуется печаль в исламской культуре. Это уважительное отношение – причина того, что стамбульцы последние два столетия так широко употребляют слово «хюзюн» в повседневной жизни и в литературе, и того, что наша музыка просто пропитана печалью. Однако одним лишь мистическим почтением к этому слову невозможно объяснить, почему в последнее столетие на Стамбул опустилось такое неизбывное ощущение глубокой печали. Обращаясь лишь к истории слова и памятуя о том уважении, которое оно вызывает, невозможно уяснить себе, как же получилось так, что вот уже сто лет печаль – основное душевное состояние, передаваемое стамбульской музыкой, что в современной турецкой поэзии «печаль» и как слово, и как ощущение настолько распространено (как некогда в поэзии дивана игра слов); невозможно понять, почему «печаль» стала центральным понятием жизни, синонимом неудач, апатии и замкнутости. Чтобы увидеть корни того концентрированного чувства печали, которое в детстве пробуждал во мне Стамбул, нужно обратиться к истории города после падения Османской империи и взглянуть на то, как последствия этого падения отразились на внешнем виде Стамбула, и на то, как они сказались на его обитателях. Печаль Стамбула – это и настроение его музыки, и главное понятие его поэзии, и определенный взгляд на жизнь, и состояние души, и некая субстанция, без которой Стамбул не был бы Стамбулом, – все сразу. Поэтому город несет свою печаль с гордостью и достоинством (или, по крайней мере, делает такой вид); поэтому же это состояние духа, с одной стороны, осуждается, а с другой – одобряется.



Чтобы в полной мере осознать противоречивость понятия, стоящего за словом «хюзюн», вернемся к мнению тех мыслителей, которые не считали печаль чем-то достойным уважения или поэтическим и рассматривали ее как своего рода болезнь. Эль-Кинди³⁸ полагал, что печаль связана не только с чувством утраты, возникающим, например, после смерти близкого человека, но и с такими болезненными состояниями духа, как гнев, любовь, ненависть и подозрительность. Такого же широкого взгляда на сущность печали придерживался философ и медик Ибн Сина (Авиценна), который советовал врачу для правильного определения диагноза безнадежно влюбленного юноши при подсчете пульса просить больного произносить имя возлюбленной. Этот подход исламских мыслителей классического периода к понятию печали схож с мыслями оксфордского профессора Роберта Бёртона, написавшего в начале XVII века странную, но занимательную книгу «Анатомия меланхолии». По сравнению с этим 1500-страничным фолиантом труд Ибн Сины «Фи'ль Хюзн» выглядит тонкой брошюрой. Бёртон дает обширный, энциклопедический перечень причин этой напасти – от любви, неудач, дурных поступков и страха смерти до различных блюд и напитков – и предлагает столь же обширный список лекарств от нее: выступая одновременно как философ и как медик, он советует своим читателям искать утешения в здравых суждениях и в труде, вырабатывать в себе стойкость к ударам судьбы, не забывать о нравственности, самодисциплине и воздерживаться от чревоугодия, – здесь мы видим, что между взглядами авторов этих книг, принадлежавших к совершенно разным культурам, существует определенное сходство.

И хюзюн, и меланхолия ассоциируются с темнотой, с черным цветом (слово «меланхолия», появившееся еще во времена Аристотеля, означает «черная желчь»); и то и другое слово некогда употреблялись в весьма широком значении, в целом означая сильную душевную боль, как сегодня слово «депрессия». Ключевая же разница между значениями этих слов заключается вот в чем: Бёртон называл себя меланхоликом с гордостью и полагал, что меланхолия может привести к счастливому одиночеству. Он говорил, что иногда меланхолию нужно принимать с радостью, поскольку она развивает воображение; является ли одиночество ее причиной или следствием – не важно, главное, что меланхолии без одиночества не бывает. Для Эль-Кинди же (который рассматривал печаль и с суфийской точки зрения, то есть как следствие невозможности приблизиться к Аллаху, что является нашей общей целью, и как болезнь),

³⁸ Эль-Кинди (801–873) – арабский философ.

как и вообще для всей классической исламской философии, главную ценность представлял не отдельный человек, а джамаат, община верующих. Печаль оценивалась им с точки зрения интересов общины как чувство, способствующее возвращению человека в джамаат, но в конечном счете противоречащее духу объединенности общей целью.



Я начал с рассказа о чувстве, наполняющем ребенка, глядящего в запотевшее окно, а сейчас мы переходим к тому главному, что отличает хюзюн от меланхолии: последняя – это переживание одного человека, а та печаль, о которой говорю я, – это гнетущее чувство, объединяющее миллионы людей, все население огромного города – Стамбула.

Прежде чем попытаться рассказать об этой стамбульской печали, не похожей ни на какую другую, напомним, что главная цель художника, рисующего пейзаж, – сделать так, чтобы его картина вызвала у зрителя те же чувства, которые сам пейзаж вызывает у художника. Эта идея была особенно распространена в середине XIX века среди последователей романтизма. Бодлер, говоря о картинах Делакруа, замечает, что более всего его привлекает в них атмосфера меланхолии. Подобно романтикам и, впоследствии, декадентам, он употребляет это слово в несомненно положительном значении. Бодлер записал свои мысли по поводу Делакруа в 1846 году; через шесть лет после этого друг Бодлера, писатель и критик Теофиль Готье, посетил Стамбул. В своей книге «Константинополь», которая оказала сильное влияние на таких стамбульских писателей, как Яхья Кемаль или Ахмет Хамди Танпынар, он пишет, что некоторые виды города чрезвычайно меланхоличны, при этом также употребляя это слово в положительном смысле.



Но я сейчас хочу рассказать не о меланхолии Стамбула, а о той, в чем-то похожей на нее, печали, которую мы, стамбульцы, принимаем с гордостью и переживаем все вместе, сообща. Чтобы почувствовать ее, нужно суметь увидеть ее истоки в городских пейзажах и в моментах, выхваченных из потока городской жизни. Я говорю о рано опускающихся сумерках и об отцах семейств с сумками в руках, спешащих домой по окраинным улочкам, освещенным тусклыми фонарями. Я говорю о пожилых продавцах книг, которые после очередного экономического кризиса, дрожа от холода в своих лавках, целыми днями впустую ждут покупателей; о парикмахерах, жалующихся, что народ стал меньше бриться; о застывших у пустых пристаней старых босфорских парходах и о матросах, с ведрами в руках моющих палубу, одним глазом поглядывая на стоящий в отдалении черно-белый телевизор и думая о том, что скоро они пойдут в каюту спать; о детях, играющих в футбол на мощенных брусчаткой узких улочках среди машин; о женщинах с платками на головах и с пластиковыми пакетами в руках, молча ждущих на остановке автобуса, который все не едет; о пустых лодочных сараях рядом со старыми ялы; о чайных, под завязку набитых безработными; о терпеливых сутенерах, разгуливающих летними вечерами по самой большой городской площади в надежде отловить пьяного туриста; о толпах людей, спешащих зимними вечерами на пароход; о женах, заждавшихся возвращения своих мужей и выглядывающих, раздвинув занавески, в вечернюю темноту за окном; о стариках в тюбетейках, торгующих во дворах мечетей религиозными брошюрами, четками и розовым маслом; о похожих как две капли воды подъездах десятков тысяч многоквартирных домов, чьи стены от грязи, ржавчины, копоти и пыли потеряли всякий цвет; о муниципальных зданиях, где каждая дощечка в полу скрипела от шагов еще в те времена, когда они были особняками пашей; о сломанных качелях в парках; о корабельных сиренах, режущих в тумане; о полуразрушенных городских стенах, сохранившихся еще с византийских времен; о рынках, пустеющих по вечерам; о руинах бывших дервишеских обителей; о чайках, неподвижно сидящих под дождем на ржавых, обросших мидиями и водорослями бортах барж; о еле заметном дымке, поднимающемся из единственной трубы огромного столетнего особняка в самый холодный день зимы; о толпе мужчин, ловящих рыбу с Галатского моста; о холоде в читальных залах библиотек; об уличных фотографах; о запахе дыхания, вырывающемся из

кинотеатров, которые раньше были роскошными заведениями с позолоченными потолками, а теперь превратились в салоны порнофильмов, посещаемые мужчинами с виноватым выражением на лице; о проспектах, на которых после заката не встретишь ни одной женщины; о толпах, собирающихся жаркими, но ветреными днями у дверей контролируемых муниципальными властями публичных домов; о молодых женщинах, выстраивающихся в очередь у дверей лавок, торгующих мясом по сниженным ценам; о перегоревших лампочках, зияющих черными дырами в буквах призывов, что по религиозным праздникам натягивают между минаретами; о там и сям наклеенных на стены потемневших и порванных рекламных плакатах; об усталых старых долмушах, которые, скрипя и охая, ползут по крутым склонам грязных городских улиц, – в любом западном городе эти американские раритеты 1950-х годов попали бы в музей, а здесь продолжают трудиться; об автобусах, набитых пассажирами; о мечетях, у которых постоянно крадут свинцовые облицовочные плитки и водосточные трубы; о кладбищах, похожих на чуждые этому городу участки какого-то другого мира, и о растущих там кипарисах; о тусклых корабельных огнях, зажигающихся по вечерам на пароходах, идущих из Кадыкёй в Каракёй; о маленьких детях, пытающихся продать каждому встречному пакет бумажных салфеток; о башнях с часами, на которые никто никогда не смотрит; о школьниках, читающих на уроках истории рассказы о победах османских времен и получающих дома побои; о то и дело объявляемых запретах выходить из дому в связи с подсчетом избирателей, переписью населения или поиском террористов, когда люди сидят по своим квартирам и в страхе ждут «уполномоченных»; о втиснутых в самый дальний угол газеты письмах читателей, которые никто не читает: «У мечети в нашем квартале проваливается купол, а ей лет триста семьдесят, не меньше, – куда смотрит правительство?»; о ступеньках подземных и надземных переходов в самых оживленных местах города, каждая из которых разбита по-своему; о человеке, сорок лет подряд на одном и том же месте торгующем открытками с видами Стамбула; о нищих, появляющихся откуда ни возьмись в самых неожиданных местах, и о нищих, которые изо дня в день стоят на одном и том же углу и произносят одни и те же жалобные речи; о тяжелом запахе мочи, вдруг ударяющем в нос на оживленных проспектах, на пароходах, в пассажах и подземных переходах; о юных девушках, читающих колонки сестрицы Гюзин в газете «Хюрриет»; о вечерней заре, окрашивающей окна в Ускюдаре в красновато-оранжевый цвет; о ранних утренних часах, когда все спят и только рыбаки выходят в море; о невесте почему зовущемся зоопарком участке парка Гюльхане, где в клетке сидят две козы и три утомленные жизнью кошки; о выступающих по дешевым ночным клубам второсортных певцах, подражающих американским и турецким поп-звездам, и о первоклассных певцах тоже; о бесконечных уроках английского языка, на которых школьники за шесть лет с грехом пополам заучивают только «yes» и «no»; о переселенцах, стоящих на пристани в Галате; о валяющихся на рынках зимними вечерами после окончания торговли овощей, фруктах, мусоре, обрывках бумаги, пластиковых пакетах, мешках, коробках и ящиках; о красивых женщинах, закутанных в платки, которые, смущаясь, торгуются с рыночными продавцами; о молодых матерях, бредущих по улицам с тремя детьми; о заливе Золотой Рог, видимом с Галатского моста до самого Эюпа; о продавцах бубликов, в ожидании покупателей разгуливающих по набережной погрузившись в созерцание окрестностей; о сливающихся в единый протяжный гул корабельных гудках, доносящихся с Босфора в 9:05 утра 10 ноября, когда весь город застывает, чтобы почтить память Ататюрка; об источниках, которые столетиями верой и правдой служили горожанам, а ныне остались без кранов и превратились в бесполезные груды мрамора, и ступеньки их скрылись под слоями асфальта; о доме на маленькой улочке, в котором в годы моего детства жили представители среднего класса – доктора, адвокаты, учителя, – слушавшие по вечерам вместе со своими семьями радио, а теперь квартиры этого дома заставлены вязальными и пуговичными машинами, и за ними, чтобы вовремя успеть выполнить заказ, ночи напролет работают молоденькие девушки – за самую низкую в городе зарплату; о том, что все здесь разрушенное, поломанное

и обветшавшее; об аистах, которые в начале осени летят с Балкан, из Восточной и Южной Европы на юг и по пути пролетают над Босфором и островами, и все, задрав голову, смотрят на них; и о толпах курящих папиросы мужчин, возвращающихся домой после матчей национальной футбольной сборной, которые в годы моего детства неизменно кончались крупным поражением, – обо всем этом говорю я.



И если вы чувствуете эту печаль, если вы ощущаете ее присутствие в городских пейзажах, на улицах, в людях, то порой она становится почти видимой, куда бы вы ни посмотрели, словно легкая дымка, поднимающаяся над Босфором, когда зимним днем из-за облаков вдруг выглянет солнце.



Здесь становится понятно, что печаль, о которой я говорю, совсем не похожа на меланхолию, свойственную одинокому индивидууму, но сближается с понятием печали, используемым Клодом Леви-Строссом³⁹ в книге «Печальные тропики». Конечно, Стамбул, лежащий на 41-й параллели, по своему климату и рельефу отличается от тропических городов, и здесь нет такой безысходной нищеты, но ненадежность жизни, отдаленность от центров западной цивилизации и «таинственная атмосфера», затрудняющая западному человеку понимание существующих здесь отношений между людьми, сближает понятия печали Стамбула и той печали (*tristesse*)

³⁹ Клод Леви-Стросс (1908–2009) – французский этнолог и социолог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.